

АСМОДЕЙ ДЕННИЦА

СНЕЖНАЯ
роза
ГАВАЕВ

— СЫЧ&СЫР —

18+

Асмодей Денница

Снежная роза Гаваев

<https://litres.ru/74684092>

SelfPub; 2026

Аннотация

Океанолог Алена Снигерева прибывает на Гавайи, чтобы разгадать тайну глубинных течений. Но вместо спокойной научной работы её ждёт встреча с дерзким журналистом Джеймсом Патриком — мужчиной, чей янтарный взгляд пронзает ледяную броню её души. Их случайное знакомство оборачивается опасной игрой: древние легенды вулканов, подводные ловушки и приключения. Джеймс хранит секреты, которые могут стоить ей жизни, но с каждым поцелуем она тает в его руках, как снег под тропическим солнцем. Смогут ли они выжить в этом водовороте страсти и мистики, или океан поглотит их любовь, не оставив следа? Здесь даже время течёт иначе, и цена правды — это сердце, отданное без остатка.

Наслаждение, которое опасно. Тайна, которая жжёт. Гавайи, которые никогда не отпустят.

Содержание

Пролог. Остров, где встречаются сны и явь	4
Глава 1. Одинокая волна	29
Глава 2. Танец теней на воде	57
Конец ознакомительного фрагмента.	83

Асмодей Денница Снежная роза Гаваев

Пролог. Остров, где встречаются сны и явь

Океан помнит не слова — он помнит кожу. Помнит, как чья-то ладонь лежала на воде и не решалась погрузиться до конца; помнит солёный след на чужой шее, который остался на ней дольше, чем следовало; помнит то короткое, ворованное у судьбы дыхание, когда двое стоят слишком близко и оба знают, что отойдут слишком поздно. Он терпелив, этот океан, и в его терпении большие страсти, чем в иных объятиях. Он ждал её двадцать лет. Он узнал её раньше, чем она родилась. Такова цена тех, кто носит в груди снежную розу: их узнают до первой встречи и не отпускают до последнего вздоха.

«Есть острова, которые не отпускают. Они ждут тебя всю жизнь, а когда ты наконец ступаешь на их берег, ты понимаешь: это не ты приехал к ним — это они всю жизнь плыли к тебе навстречу, сквозь шторма, сквозь чужие широты, сквозь годы, в которых тебя ещё не было. Снежная роза цветёт только на вулканической почве — там, где пе-

пел ещё помнит жар, а снег ещё не научился бояться огня. Ей не нужны ни сад, ни садовник. Ей нужен только тот, кто осмелится приблизить лицо к её лепесткам и почувствовать, как они обжигают холодом. Есть цветы, которые не пахнут. Эта пахнет тем, что ты запрещаешь себе помнить».

Она всегда считала, что океан помнит всё, — и это было не поэтическое допущение уставшего от цифр человека, а то простое, почти телесное знание, которое живёт в кончиках пальцев и не нуждается в доказательствах. Каждый всплеск, каждый крик чайки, каждое утонувшее желание, каждое имя, произнесённое в темноте и не дожившее до рассвета, — всё это лежит в нём слоями, как лежат в старом архиве папки, к которым давно не прикасались, но которые никто и не думал выбрасывать. Он хранит тайны лучше любого архивариуса: без сейфов, без каталожных карточек, без страха перед правдой. Он не судит, не вычёркивает, не забывает. Он просто держит — и в этом «просто» больше милосердия, чем в иных проповедях. Только тем, кто умеет слушать, он открывает свои секреты. Только тем, кто готов заплатить. А плата у него всегда одна и та же: он забирает у тебя то, чем ты дорожишь, и возвращает это обратно уже другим — солёным, обожжённым, чужим, — чтобы ты до конца жизни училась узнавать любимые черты в незнакомом лице. Но иногда океан не просто хранит тайны — он их создаёт.

Он сплетает судьбы людей в узлы, которые невозможно развязать, в венки из живых нитей, тянущихся из одного полушария в другое, из одного века в следующий, из одной жизни в другую, и делает это с тем спокойным, чуть насмешливым мастерством, с каким старая кружевница плетёт узор, зная наперёд, где он порвётся. Для этого ему нужны лишь двое: тот, кто ищет, и та, кто боится найти. Ему больше ничего не нужно — ни кораблей, ни бурь, ни пророчеств. Океан терпелив. Океан умеет ждать. Он ждал её двадцать лет — с того самого дня, когда она, ещё совсем маленькая, впервые заплакала, глядя на тёмную воду Невы, и почувствовала, что где-то там, за горизонтом, есть нечто, что она обязана найти, даже если найдёт не то, что искала. Она тогда не знала — что. Но океан знал. Он всегда всё знает заранее — и в этом его жестокость, и в этом его нежность.

Ноябрь в Санкт-Петербурге — это наказание, придуманное кем-то, кто никогда не бывал в городе, где небо опускается так низко, что начинает давить на плечи, как мокрая шерсть. Ледяной ветер с Финского залива хлестал по лицу, заставляя Алену щуриться и глубже кутаться в шарф, который, казалось, промок насквозь ещё до того, как она вышла из подъезда. Небо было цвета старого олова; мокрый снег мешался с дождём, превращался в мерзкую кашу, леденел на асфальте и норовил проникнуть в сапоги, чтобы напомнить о своём существовании каждым шагом. Фонари горели тускло и устало, будто им тоже не хотелось вставать в этот

день. Казалось, что даже утро не наступило по-настоящему — просто одна серость сменила другую, чуть более светлую, и этот обмен происходил с тем равнодушием, с каким смена караула передаёт друг другу ключи, о которых никто уже не помнит, от чего они.

Она шла по набережной, стараясь не смотреть на воду, — и в то же время не могла не смотреть, и это противоречие было старым, как её память. Нева была чёрной, тяжёлой, и в ней, как всегда, что-то шевелилось: какая-то глубинная дрожь, какое-то медленное, могучее дыхание, которое она чувствовала каждой клеткой тела, как чувствуют приближение грозы за час до первого раската. Это была её давняя, тайная, необъяснимая связь с водой — то, о чём не пишут в статьях и не рассказывают на конференциях. Коллегам незачем было знать, что дочь знаменитого капитана Снигерева, серьёзный учёный с публикациями в международных журналах, иногда стоит у окна и смотрит на реку так, будто ждёт, что из неё кто-то выйдет, — и ждёт не из любопытства, а потому, что где-то в глубине живота у неё на это «кто-то» давно заготовлено место, тёплое и пустое, как ладонь, которую держали и отпустили.

Только что она вышла из здания Института океанологии имени адмирала Макарова — серого, обшарпанного, с облупившейся штукатуркой и вывеской, которую следовало бы заменить лет двадцать назад, но не заменили, потому что на вывеску, как и на всё остальное, не было денег, а на объяс-

нение, почему денег нет, их, как ни странно, хватало всегда. Это был её второй дом. Здесь пахло сыростью, книжной пылью, реактивами и той глобальной усталостью российской науки, которая умудрялась существовать вопреки всему — вопреки климату, вопреки финансированию, вопреки здравому смыслу. Затянувшееся совещание высосало из неё все силы, как пиявка, — четыре часа цифр, графиков, споров о бюджете, о приоритетах, о том, чей отдел важнее и кому достанутся новые приборы, а кому — переходящий красный выппел за самоотверженный труд. Она слушала, механически кивала, рисовала в блокноте абстрактные узоры — штормовые фронты, изобаты, изотермы, течения, которые пересекались и расходились, как судьбы, — и с каждой минутой всё отчётливее понимала, что спор идёт не о приборах, а о том, кто громче умеет говорить «мы». Она почти не участвовала. Ей было неинтересно, повторно или впервые дадут деньги на экспедицию. Ей было интересно другое — то, что ждало её в глубине, то, что она чувствовала спиной весь этот час, как чувствуют взгляд, не видя глаз.

Один раз она подняла голову, когда за окном с шумом сорвалась с карниза стая птиц. Голуби. Серые, мокрые, они взмыли над крышей и исчезли в сером небе, и Алена поймала себя на том, что провожает их взглядом с какой-то странной, почти детской тоской, с какой провожают поезд, на который опоздал. Она тоже хотела улететь. Она всегда хотела улететь — и всегда оставалась, потому что улететь означало

оставить город, в котором мамин голос ещё звучал между стен, а этого она не могла себе позволить. Так и жила: одна половина её существа тянулась к горизонту, другая держалась за шершавый подоконник.

В руках она сжимала папку из плотного картона, от которой, казалось, исходил едва уловимый запах водорослей и соли — предвестник скорой командировки. Запах, который она знала с детства. Запах, от которого у неё сжималось сердце, потому что именно так пахли руки отца, когда он возвращался из рейсов: солью, железом, дальней дорогой и чем-то ещё, чему она не находила названия, — тем самым запахом мужчины, который вернулся оттуда, где никого не было, и принёс на коже это «никого» с собой. Она поднесла папку к лицу и вдохнула. Ничего, кроме старой бумаги и типографской краски. Но воображение было сильнее реальности — и, пожалуй, правдивее её.

Профессор Лебедев — её научный руководитель, старый друг покойного отца, человек с лицом, измятым, как старые газеты, и глазами, которые, казалось, всё время что-то взвешивали, — почти час говорил с ней в своём кабинете. Кабинет был завален книгами, папками, образцами пород в стеклянных банках, готовыми рассыпаться от ветра, и пахло там табаком, несмотря на все запреты, и старой бумагой, и ещё чем-то кисловатым, что бывает в комнатах, где давно не открывали окно. Лебедев сидел за столом, вертя в пальцах очки, и глядел на неё поверх столешницы так, как глядят на

человека, которого собираются попросить о чём-то важном и заранее стыдятся этой просьбы.

— Алёна, — сказал он, и в его голосе слышалось то, чего она не слышала раньше: осторожность, скрытая тревога и ещё что-то, похожее на неуверенность старого человека, впервые за долгое время не знающего, как произнести следующее слово. — У меня есть к тебе разговор. Не совсем служебный.

Он понизил голос, хотя в кабинете, кроме них двоих, никого не было, и достал из ящика стола папку. Ту самую, которую она теперь сжимала в руках. Положил её на стол, хозяйски погладил по обложке — и в этом жесте было столько собственнической нежности, сколько не бывает у человека, расстающегося с бумагами навсегда.

— Данные по глубоководным термальным источникам в районе Гавайских островов. Термальные поля, биолюминесцентные бактерии, аномальные течения. Это Святой Грааль для нашего отдела, Алёна. Ты единственная, кто способен их осмыслить. — Он помолчал, глядя на неё, и добавил тихо, почти виновато: — И ты нужна там. Прямо завтра.

Прямо завтра. Алена не стала спорить. Она привыкла не спорить с Лебедевым, и это была не слабость, а старая, выверенная форма любви: он был последней нитью, связывавшей её с отцом, последним человеком, который помнил капитана Снигерева живым — помнил его смех, манеру поправлять фуражку, прокуренные пальцы, водившие по карте маршру-

ты, которые потом сбывались с пугающей точностью. Иногда ей казалось, что она ходит к Лебедеву не за наукой, а за этими обрывками прошлого, как ходят на кладбище не потому, что там есть что делать, а потому, что только там можно услышать голос, которого больше нет. И вот теперь этот человек, не поднимая глаз, отправлял её туда, где этот голос когда-то оборвался.

— Хорошо, — сказала она просто. — Завтра так завтра.

Лебедев посмотрел на неё странно. Так смотрят на человека, с которым прощаются навсегда, но не решаются сказать об этом вслух, — и в этом взгляде было больше правды, чем во всех четырёх часах сегодняшнего совещания.

— Береги себя, Алёна, — сказал он. — Вода там неспокойная. И люди... люди там разные. Ты помнишь, что у тебя есть я. Если что-то пойдёт не так, если возникнут проблемы — любые проблемы — ты знаешь, куда позвонить.

Она кивнула, не придав значения его словам. У неё было слишком много причин не придавать им значения: усталость, папка, завтрашний перелёт, привычка не верить предчувствиям. Она не знала тогда, что это было предупреждение. Или что Лебедев уже тогда знал больше, чем говорил, и говорил ровно столько, сколько мог сказать, не превратив просьбу в исповедь.

Она вышла из института, и серый ноябрьский вечер снова обнял её за плечи, как обнимает человек, которому всё равно, но который всё-таки обнимает. Она долго стояла на на-

бережной, глядя на тёмную воду Невы. Несуразно широкая в этом месте, река катилась мимо неспешно, могущественно, и Алена думала о том, что отец, наверное, любил эту воду — любил её не за красоту, а за обещание: за то, что она течёт куда-то, где тебя ещё не было. Он всегда говорил, что Нева — это прихожая океана. Что если плыть по ней достаточно долго, попадёшь во все моря мира. Он никогда не возвращался из рейсов одинаковым. Всегда приходил другим человеком — обожжённым солнцем, прокопчённым ветром, с глазами, в которых плескалась бесконечность, и с руками, которые помнили не только её ладонь. Мать смеялась, когда он переступал порог: «Твой отец привозит домой кусочки океана». И она была права — только эти кусочки потом оседали на его коже, на его рубашках, на его молчании, и Алена, тогда ещё девочка, научилась читать по этому молчанию целые главы.

Алена шла домой пешком, хотя могла бы доехать на метро. Ей нужно было движение, воздух, усталость в ногах — то простое телесное изнеможение, которым глушат тревогу, когда не умеют её назвать. Она шла по Васильевскому острову, мимо старых домов с дворами-колодцами, мимо парадных с резными дверями, мимо витрин, в которых уже загорались жёлтые огни, и город провожал её тем особым петербургским взглядом, который не судит и не утешает, а просто смотрит, как на одну из своих. Город готовился к ночи. А она готовилась к отлёту.

Дома, в маленькой, но уютной квартире на шестом этаже, её ждал уже собранный чемодан. Она собрала его вчера вечером — механически, повинаясь не разуму, а какой-то внутренней директиве, щёлкавшей в ней, как тумблер: понадобится — положи. Лёгкие платья, которые она почти не носила; купальник, купленный два года назад и так и не снявший ценник; паспорт, ноутбук, запасные зарядки, блокноты, книги. Она вытащила чемодан в прихожую, проверила замки — и только потом позволила себе сесть в кресло и закрыть глаза, и в этой позе, с ладонями на коленях, было что-то от человека, который собирается с духом перед прыжком в холодную воду.

Квартира пахла книгами и сухими травами. Мать сушила их на кухне — мяту, чабрец, зверобой, — развешивала на бельевой верёвке над плитой, и потом весь дом ещё неделю пах летом, и это лето было тем единственным летом, которое Алена помнила целиком, а не урывками. Матери не было двадцать лет, но запах держался, как держатся на старых стенах следы краски: нельзя стереть, можно только закрасить. Алена не закрашивала. Она берегла квартиру как музей — как единственное место, где мамин голос ещё звучал между стен, и где на неё из коридора смотрела картина, мимо которой она каждый вечер проходила, стараясь не поднимать глаз.

Она подошла к окну и посмотрела на тёмную воду Невы. Река шла тяжело, катила свинцовые волны под мостом, и в

её глубине, казалось, шевелилось что-то тёмное, медленное, неспешное, — и Алена вдруг почувствовала, как это шевеление отзывается у неё в теле, в самом низу живота, тягучей, необъяснимой волной, от которой захотелось прижать ладонь к стеклу и задержать дыхание. Она всегда чувствовала странную связь с водой. Не объяснимую, не научную — первобытную, идущую из тех глубин, где не работают формулировки. Стоя у окна, она думала об отце. О том, как он уходил в свой последний рейс. Ей было пятнадцать. Он стоял на причале — большой, живой, загорелый до бронзы, — и махал ей рукой. Потом развернулся и пошёл по трапу, ни разу не обернувшись. Она помнила эту спину — крепкую, прямую, в форменном кителе. Помнила, как хотела крикнуть вслед: «Папа, не уходи!» — и не крикнула. Потому что ей было пятнадцать, и она считала себя взрослой. Потому что она была уверена, что он вернётся.

Он не вернулся.

«Атлантик Роуз» — сухогруз, на котором он ходил капитаном, — вышел из порта Хило на Гавайях в свой последний рейс и исчез. Без сигналов бедствия, без обломков, без следов. Просто исчез, как будто океан проглотил его целиком — вместе с командой, вместе с грузом, вместе с её отцом и вместе с той частью её детства, которая ещё умела верить, что взрослые всегда возвращаются. Официальная версия — шторм. Неофициальная — никакой. Его искали полгода. Нашли — ничего.

Алена так и не приняла эту потерю. Она научилась жить с ней, но не приняла — и это была разница, которую она оберегала, как оберегают единственную оставшуюся фотографию. Она стала океанологом, чтобы понять, как вода может вот так просто забирать людей, и с годами научилась говорить об этом ровным голосом на конференциях, хотя под этим голосом всегда лежало другое — детское, глухое, злое. Она изучала течения, глубины, аномалии, потому что где-то в самой глубине души верила: если она поймёт океан, она поймёт, куда он дел её отца. А если поймёт — найдёт. И, может быть, тогда ей перестанет сниться эта чужая, солёная, тёплая темнота, в которой кто-то всегда стоит по колено в воде и ждёт, пока она решится сделать шаг.

Мама, художница, умершая, когда Алене было двенадцать, — за три года до исчезновения отца, — говорила, что в их роду были ясновидящие. Женщины по линии Снигеревых всегда знали больше, чем положено, и это знание было не благословением, а обузой, которую они передавали друг другу вместе с цветом глаз. Прабабка видела за три дня до телеграммы, что её сын не вернётся с фронта: она выходила на крыльцо и смотрела на дорогу, и соседи говорили — «Варвара опять ждёт». Она ждала. И он не вернулся. Бабка угадывала имена будущих женихов у подруг, и подруги потом выходили замуж именно за этих людей, пугаясь до слёз и до шепота за спиной. Мать видела море. Она говорила, что море тянет её, что ей снятся одни и те же сны — огромные

волны, подводные города, свет в глубине. Она рисовала эти сны. В их квартире до сих пор висит её картина — «Глубина», — и Алена каждый вечер проходит мимо неё, стараясь не смотреть. На этой картине из тёмной воды поднимается город. Белые башни, арки, купола. И в центре — свет. Золотой, тёплый, пульсирующий, как сердце, которое бьётся не в чьей-то груди, а в самой толще воды, и зовёт, зовёт, зовёт.

— Ты чувствуешь воду больше, чем другие, дочка, — шептала мать, поглаживая её по волосам, и эта ладонь пахла скипидаром и льняным маслом. — Это не проклятие. Это дар. Не бойся его. Он приведёт тебя к чему-то важному. Только помни: вода никогда не обманывает, но она никогда и не жалеет. Она показывает правду. А правда — это не всегда то, что ты хочешь увидеть. Иногда это то, что ты хочешь, но не смеешь.

Алена всегда скептически относилась к этим словам. Она была учёным — она верила в приборы, в данные, в воспроизводимость эксперимента, а «дар» — это то, что не помещается в таблицу, а значит, не существует. Она говорила себе это сотни раз, стоя перед маминой картиной, и сотни раз чувствовала, как это «не существует» слабеет под её взглядом. И всё же — она становилась океанологом. И всё же — она чувствовала воду. И всё же — сейчас, стоя у окна, она внезапно ощутила, как по спине пробежал странный электрический разряд: волосы на руках встали дыбом, кожа под свитером покрылась мурашками, а где-то под рёбрами стало

тесно, как бывает тесно в груди перед тем, как тебя поцелуют без предупреждения.

Вода в Неве, казалось, стала темнее. Гуще. Из её глубины, там, где обычно было черно и непроглядно, мелькнул какой-то призрачный свет. Бледный, зеленоватый, он всплыл, покачиваясь, как поплавок, — и погас. Алена моргнула. Сердце стукнуло раз, второй, третий. Ей показалось — или воду на мгновение прорезал свет, яркий, золотой, совсем не похожий на отблеск фонаря, — и в этом свете на секунду обозначился чей-то силуэт, высокий, с широкими плечами, стоящий по колено в воде и смотрящий прямо на неё.

«Нервы, — решила она, отворачиваясь от окна. — Переутомление. Слишком много работы. Четыре часа совещания, перелёт завтра, сборы». Она подошла к столу, где лежала её самая ценная книга — старый фолиант о морских течениях, подаренный отцом. Обложка из тёмно-синего ледерина, потёртая, с золотым тиснением, которое почти стёрлось, но всё ещё угадывалось: «Моря и океаны». Отец вписал на форзац чернилами, крупно, с наклоном: «Алене — чтобы она всегда помнила, откуда пришла. Твой капитан».

Она часто листала эту книгу. На её страницах отец оставлял пометки — аккуратные, карандашные, на полях. «Здесь сильное течение, держись левее». «В этом районе рыбаки находят странные предметы». «Проверить глубину». Это был его личный атлас, его карта мира, его исповедь — и Алена

читала её так, как читают письма, написанные не ей, но о ней. Она берегла книгу как зеницу ока. Она была последним, что осталось от него живого, — помимо памяти, которая с годами становилась не памятью, а её собственной версией событий.

Она открыла книгу на закладке. И замерла.

Закладкой служил высушенный цветок. Небольшая белая роза с необычными, почти прозрачными лепестками — тонкими, как крылья стрекозы, и на просвет казавшимися ледяными. Алена понятия не имела, откуда он взялся. Она никогда не клала его туда. Она знала эту книгу наизусть — каждый корешок, каждую страницу, каждую пометку, каждую случайную складку бумаги. Цветка в ней не было. Она была в этом уверена на сто процентов, и эта уверенность холодила хуже ветра. И всё же он лежал здесь, на странице о Гавайских островах, — хрупкий, белый, невозможный.

Она осторожно взяла его в руки. Он был сухим, но не рассыпался — лепестки держались, будто их только вчера срезали, и в этом было что-то неправильное, что-то, от чего по коже снова побежали мурашки. И от него исходил аромат. Нежный, но отчётливый. Она ожидала чего угодно — сухой травы, пыли, ничего. Вместо этого — смесь жасмина и морской соли, сладкая и горькая одновременно, как слёзы пополам с солью. Аромат был настолько живым, что у неё закружилась голова, и она почувствовала, как во рту стало влажно, а по позвоночнику прокатилась волна тепла, не имевшего

никакого отношения к ноябрю за окном. Она поднесла цветок к лицу, закрыла глаза и вдохнула — глубоко, жадно, как вдыхают запах чужой кожи, ещё помнящей чужое имя.

«Снежная роза», — вдруг пришло ей в голову.

Слово само всплыло из глубины сознания — готовое, целое, как будто оно ждало здесь, в темноте, именно этого цветка, чтобы выйти на поверхность. «Снежная роза». Она произнесла это вслух, одними губами, и в комнате будто стало тише. Чайки за окном перестали кричать. Нева перестала шуметь. Мир затаил дыхание на одно мгновение — ровно на то, чтобы она произнесла эти два слова, — и в этом мгновении ей вдруг показалось, что кто-то в комнате, кроме неё, тоже его слышал.

Она положила цветок обратно в книгу, закрыла её и убрала в чемодан. Объяснить себе, зачем берёт его с собой, она не могла. Просто взяла. Как берут талисман, сами не зная почему. Как будто что-то подсказывало ей: не оставляй его здесь. Он тебе понадобится. И ещё что-то — то, чего она не стала додумывать, — подсказывало, что цветок этот найден не ею, а для неё, и что где-то уже есть тот, кто знает, как он пахнет.

Поздно ночью, уложив последние вещи, она заснула в кресле, так и не дойдя до кровати. Ей снился сон. Станный, липкий, как мёд, и в то же время прозрачный, как вода.

Она стояла на берегу океана. Ноги утопали в песке — чёрном, как вулканическая ночь, тёплом, как чужая спина

под ладонью. Вода была тёплой, как парное молоко, и пахла чем-то тревожным, сладковатым — жасмином, серой, солью. Небо было звёздным, но звёзды здесь были другие: крупные, яркие, низкие, как будто их можно достать рукой, и от этой близости неба у неё кружилась голова и хотелось лечь, раскинув руки, и позволить этой темноте смотреть на себя. Вдалеке, на горизонте, что-то светилось — то ли город, то ли вулкан, то ли просто отражение луны на воде, — и это свечение тянулось к ней по поверхности, как дорожка, по которой не идут, а плывут.

Прямо из волн, шагнув на берег, на неё смотрел мужчина. Он был высоким. Волосы — цвета мокрого песка, выгоревшие на солнце, со светлыми прядями. Глаза — цвета океанской глубины, янтарные, с золотыми искрами, в которых плескался свет, и в этом свете было столько внимания, что у неё перехватило дыхание, как перехватывает от прикосновения к горячему. Он не двигался. Просто стоял и смотрел, и в этом взгляде не было ни угрозы, ни оценивающего любопытства — только узнавание. Так смотрят на вещь, которую давно искали и наконец нашли. Так смотрят на человека, которого ждали всю жизнь, даже если сами этого не понимали, — и так смотрят на тело, которое уже однажды держали, и оно это помнит.

Он протянул к ней руку. И Алена, не в силах сопротивляться, шагнула в воду. Волна приняла её нежно, как мать принимает ребёнка. Вода была тёплой, ласковой, и она не бо-

ялась. Она тонула, но не боялась — чувствовала лишь всепоглощающее притяжение и тихий, настойчивый зов: зов, который шёл не извне, а из неё самой, из того места под рёбрами, где до сих пор было пусто и где теперь что-то становилось на место, как ключ в замке, и поворачивалось, и открывало. Вода смыкалась над ней, тёплая, золотистая, светящаяся изнутри, и в этом свете она видела его лицо — рядом, вплотную, так близко, что чувствовала его дыхание на своих губах и не могла понять, где кончается вода и начинается он.

«Алоха», — сказал он.

Слово отдалось в её груди, как удар колокола. Тёплое, родное, незнакомое. Оно было приветствием и прощанием одновременно, обещанием и предупреждением, и в нём было столько всего, что она не смогла бы разложить это по полочкам, даже если бы была не океанологом, а лингвистом. Она не знала этого слова. Никогда не слышала его. И всё же понимала так, будто знала всегда.

— Алоха, — ответила она, не зная, откуда берёт это слово.

Он улыбнулся. И в его улыбке было что-то такое, от чего у неё перехватило дыхание, — что-то древнее, тёплое, опасное, как вода, которая ещё не решила, утопить тебя или вынести на берег. Он поднял руку и коснулся её щеки — кончиками пальцев, легко, как будто проверял, настоящая ли она. Его прикосновение обожгло её. Не жаром — холодом. Снегом. Оно было ледяным и огненным одновременно, и от него по её коже пошла та самая дрожь, которую она потом, наяву,

будет вспоминать, стоя у зеркала, и не сможет ни объяснить, ни забыть.

«Я ждал тебя», — сказал он. Но голос его прозвучал не извне, а внутри неё, в самой глубине, где не бывает слов, — и от этого внутри стало тесно и сладко, как бывает тесно и сладко, когда тебя держат слишком крепко и ты не хочешь, чтобы отпускали.

И проснулась.

Утро встретило её серым петербургским светом, чайкой за окном, которая орала над Невой, и запахом кофе, доносившимся из кухни: она забыла выключить кофеварку и механически выключила её, прежде чем пойти в душ. Дрожащими руками налила себе воды и выпила залпом. Сердце всё ещё колотилось. На коже, там, где его пальцы коснулись её щеки, всё ещё держалось то странное ощущение — снег и огонь, лёд и пламя, — и, проведя по щеке ладонью, она почувствовала, что она горячая.

Она подошла к зеркалу. Лицо у неё было бледным, глаза — огромными, тёмными, и она сама себе показалась похожей на женщину из тех старых полотен, где героини ещё не знают, что с ними будет, но уже предчувствуют. Она посмотрела на себя и сказала вслух, строго, как говорила себе всегда:

— Это был сон, Алёна. Просто сон. Переутомление. Сборы. Перелёт. Ты учёный. Ты веришь в факты. А факт состоит в том, что завтра ты улетаешь на Гавайи, чтобы исследовать

термальные источники. Вот и всё.

Но внутри неё всё ещё бился тот странный отголосок тепла. Оно держалось под рёбрами, как держится последний уголь в остывающей печи, и, умываясь ледяной водой, она поймала себя на том, что не хочет, чтобы этот уголь гас. Она отмахнулась от наваждения, наскоро позавтракала — яйцо, хлеб, кофе, — и, взяв чемодан, вызвала такси в аэропорт.

Пулково встретил её серостью, очередями и запахом аэропорта — смесью кофе, пластмассы и усталости. Она прошла регистрацию, сдала багаж, прошла досмотр. Перед выходом на посадку зашла в маленький магазинчик и купила бутылку воды и шоколадку — просто чтобы занять руки. А потом сидела у окна в зоне вылета и смотрела на серое небо, на котором не было ни одного просвета, и в этом небе было что-то успокаивающее: оно ничего не обещало, а значит, ничего и не требовало.

Она думала об отце. О том, что через несколько часов будет над Тихим океаном — над тем самым океаном, который взял его у неё. Она не была здесь с тех пор, как пропала «Атлантик Роуз». Она не летала в эту сторону. Она избегала — и называла это осторожностью, хотя на самом деле это был страх, аккуратно переодетый в благоразумие. А теперь возвращалась — по работе, как казалось. Но кто-то внутри неё знал: это не работа. Это возвращение.

Объявили посадку. Она встала, взяла ручную кладь, пошла к выходу. Пол на секунду качнулся под ногами — так

ей показалось. Она остановилась, перевела дыхание и пошла дальше. Позади неё на кресле осталась забытая шоколадка. Она не заметила.

Самолёт взлетел, разрывая серые тучи, и набрал высоту. Алена сидела у иллюминатора, глядя вниз, на бесконечное море облаков. Потом облака кончились, и за иллюминатором открылась бездна Тихого океана. Изумрудная, синяя, бесконечная. Солнце стояло высоко, и от воды, казалось, поднималось тепло, которое чувствовалось даже сквозь стекло.

Алена смотрела на океан, и внутри неё разрасталось то самое предчувствие, о котором говорила мать. Оно было не тревогой. Это было ожидание — тягучее, сладкое, немного стыдное, как ожидание письма от того, кому ты не писала первой. У неё защемило в груди — так щемит, когда смотришь на фотографию места, в котором никогда не был, но которое помнишь как родное. Она прижала ладонь к стеклу, как будто хотела коснуться воды. Океан простирался под ней на сотни миль — синий, бескрайний, живой. И она чувствовала, что он знает о ней.

В аэропорту Лос-Анджелеса, где была пересадка, ей показалось, что за ней кто-то наблюдает. Обычное ощущение в переполненном терминале, но оно было настойчивым, конкретным — как чужая ладонь, лежащая на спинке твоего кресла. Она оглянулась. Люди спешили, катили чемоданы, разговаривали по телефонам. Никто не смотрел на неё. И всё же холодок пробежал по спине, и она, сама не понимая за-

чем, поправила воротник и сунула руку в карман, будто искала там что-то, чего раньше не носила.

Перелёт через океан был долгим. Она почти не спала — смотрела на воду, потом на звёзды, потом снова на воду. Задремала уже на подлёте к Гонолулу, и ей снова приснился он. Тот же берег, тот же чёрный песок, те же янтарные глаза. Он стоял по колено в воде и смотрел на неё. И снова протянул руку. И снова она шагнула.

«Алоха», — сказал он.

И она ответила, уже не удивляясь:

«Алоха».

Она проснулась от того, что самолёт пошёл на снижение. За иллюминатором розовел рассвет. Где-то внизу, в дымке, проступили очертания островов — тёмные, гористые, с белой каймой прибоя. Гавайи. Она смотрела на них, и сердце колотилось где-то в горле, и ладони были влажными, как у девчонки перед первым свиданием, — и она злилась на себя за это и ничего не могла с собой сделать.

В Гонолулу она пересела на маленький самолёт местной авиакомпании. Пятнадцать минут над водой — и остров приблизился, вырос из океана, стал огромным. Она прижималась лбом к холодному стеклу, разглядывая его: белые пляжи, тёмные поля лавы, зелёные горы, вершины которых кутились в облака. Большой остров.

Она приземлилась в аэропорту Кона, и её тут же окутал влажный, сладкий воздух, наполненный ароматом цветов и

вулканической земли. Запах был резким, живым, пьянящим — таким, от которого кружится голова на пустой желудок и хочется снять с себя всё лишнее. Она сошла по трапу, сделала шаг, и земля под ногами оказалась тёплой — не от солнца, а как будто изнутри, как будто она сама дышала жаром.

Небо было такого синего цвета, какого она не видела никогда в жизни. Чистое, бесстыдное, яркое. Солнце жгло, и кожа на руках тут же покрылась испариной. Пальмы шумели на ветру, и этот шум был живым, не похожим на шорох берёз, — более древним, более низким, как будто деревья разговаривали на языке, который люди давно забыли и который она, кажется, когда-то понимала.

Аэропорт Кона был маленьким, почти летним: открытые галереи, цветы в кадках, яркая реклама. Она прошла паспортный контроль, получила багаж и вышла в зал прилёта, щурясь от солнца.

Её встречал представитель института — пожилой гаваец с добрыми, глубокими глазами и ожерельем из ракушек на шее. Он держал табличку с её фамилией — «СНИГЕРЕВА» — и улыбался так, будто увидел старого друга. Шагнул к ней, протянул руку — ладонь была широкой, горячей, мозолистой, — и произнёс то самое слово, которое она слышала во сне:

— Алоха, доктор Снигерева. Добро пожаловать на Большой остров.

Алена сжала его руку. И почувствовала, как в кармане

джинсов, где лежал сухой, хрупкий лепесток «снежной розы» — она сама не помнила, как он туда попал, — стало тепло. Не жарко. Именно тепло, как от живого тела. Как будто цветок узнал воздух этого острова и ожил.

Она улыбнулась в ответ. У неё перехватило дыхание — от жары, от смены часовых поясов, от всего сразу. А может, от чего-то другого. От того, что за спиной у пожилого гавайца, у выхода из аэропорта, мелькнул силуэт — высокий мужчина с выгоревшими волосами. Он стоял в тени пальмы, и ей показалось, что он смотрит на неё так, как смотрят на человека, которого ждали, — спокойно, без удивления, с тем тихим торжеством, от которого у неё внутри всё сжалось и одновременно подобралось, как перед прыжком. Она моргнула. Силуэт исчез.

— Это солнце, — сказала она себе. — Это просто солнце.

— Доктор Снигерева? — вежливо спросил гаваец, перехватывая её взгляд. — Вы в порядке?

— Да, — ответила она. — Да, всё в порядке. Просто... долгая дорога.

Он кивнул, понимающе улыбнулся и повёл её к машине. Запах жасмина и соли витал в воздухе. Океан ждал её за пальмами — огромный, синий, живой.

И кто-то ждал её в океане.

Она ещё не знала его имени. Но океан уже знал её. И снежная роза в её кармане — та самая, невозможная, выросшая из ниоткуда, — наконец-то нашла свою почву.

Впереди был остров. Впереди была тайна. Впереди была любовь, которая сожжёт её дотла — или возродит из пепла, и она ещё не знала, что для неё страшнее.

Океан умеет ждать. Но он умеет и напоминать о себе — тёплой водой, чужим взглядом в спину, словом, которое ты не знала и всё же произнесла во сне.

Алена Снигерева ступила на землю Большого острова — и не знала, что с этой секунды её жизнь навсегда изменилась. Что снежная роза, которую она везла в кармане, не отпустит её. Что древние боги, спящие в вулканах, уже открыли глаза. И что где-то в тени — на пирсе, в кафе, в тёмной воде у рифа — уже ждёт тот, кто произнесёт её имя так, как умеют произносить только те, кто ждал всю жизнь.

До конца этого дня она ещё не знала ничего из этого. Она стояла на тёплой земле, вдыхала сладкий воздух и смотрела на синюю бесконечность океана. И впервые за двадцать лет — с тех пор, как пропал отец, — ей показалось, что она пришла домой.

Океан принял её. Океан всегда принимает своих.

Глава 1. Одинокая волна

«Путь в тысячу миль начинается с одного шага. Но иногда этот шаг отбрасывает тебя на десять тысяч лет назад — в самое сердце того, что ты так старательно пыталась забыть. Одинокая волна не разбивается о берег. Она ждёт. Она набирает силу. Она возвращается. Так и чужой взгляд: он приходит к тебе задолго до того, как ты увидишь его обладателя, — и когда ты наконец оборачиваешься, ты уже знаешь, какого цвета у него глаза».

Кондоминиум «Magic Sands» стоял в пяти метрах от океана, и это было одновременно его главным достоинством и главной опасностью — то редкое сочетание, при котором архитектура перестаёт быть строительством и становится жёстом. Алена поняла это в первую же минуту, как переступила порог: одна стена номера была сплошным стеклом, выходящим прямо на воду, и стекло это распахивалось, превращая гостиную в открытую террасу, так что граница между «внутри» и «снаружи» держалась на одном повороте ручки и на честном слове. Тот, кто проектировал это здание, знал, что делает. Он не строил дом для туристов. Он строил ловушку из света и воздуха — клетку, в которую хочешь попасть сам и из которой потом не находишь причин выходить: потому что зачем выходить, если океан уже здесь, если он дышит тебе в лицо и пахнет так, что подкашиваются колени.

Она стояла на балконе, сжимая чашку с ещё не остывшим кофе, и смотрела на бескрайнюю синеву Тихого океана — на ту самую синеву, которая в глянцевах журналах выглядит как обещание счастья, а вблизи оказывается чем-то более сложным: огромным, равнодушным, живым, как зверь, который не собирается нападать, но и не собирается отступать. Она приехала три часа назад. Успела разобрать вещи, принять душ, переодеться в лёгкие льняные брюки и белую блузку, наскоро перекусить в маленьком кафе на первом этаже — и наконец позволить себе выйти на балкон. Вещи были разобраны, ноутбук заряжался на столе, папка с документами лежала нетронутой. Институт, декабрь, слякоть, завывания Лебедева, красный вымпел за самоотверженный труд — всё это было за тысячи миль отсюда, и, стоя над синей бездной, Алена почти верила, что всё это ей приснилось: что не было ни совещаний, ни ноябрьской каши под ногами, ни двадцати лет, прожитых в аккуратно застёгнутом на все пуговицы одиночестве.

Солнце стояло высоко, и его свет был не здешний, не европейский — какой-то обильный, жирный, золотой, слишком щедрый для человека, привыкшего к экономии. Пальмы качались на ветру, бирюзовая вода казалась жидким стеклом, а белый песок пляжа был настолько чистым, что хотелось бежать вниз босиком, не думая ни о ступенях, ни о том, что скажут коллеги. Откуда-то доносился запах цветов — сладкий, густой, почти осязаемый, как будто воздух был замешан

на мёде и кто-то не пожалел сиропа. Алена сделала глоток кофе, закрыла глаза и почувствовала, как солнце впитывается в кожу — медленно, глубоко, как вода в сухую землю, как чужие пальцы в волосы, — и это ощущение было настолько телесным, что она поймала себя на движении, котором не позволила бы себе в Петербурге: чуть откинула голову и подставила солнцу шею, будто её кто-то об этом попросил.

«Ты здесь не в отпуске, — напомнила она себе. — Ты здесь по работе. Экспедиция. Данные. Термальные источники. Погружения. Не расслабляйся».

Но расслабиться было легко, и это «легко» раздражало её больше всего. Воздух был тёплым, как парное молоко. Океан дышал ровно — и от этого дыхания, казалось, поднимались вверх тепло и влага, ложившиеся на лицо невидимыми ладонями, и эти ладони были настойчивы, как ладони любовника, который знает, что ты уже не откажешься. Она чувствовала, как напряжение последних недель — нет, лет — медленно отпускает её плечи. Как разжимается стиснутая челюсть. Как тает где-то за грудиной тот ледяной ком, с которым она жила столько времени, что уже и не помнила, каково это — жить без него. Лёд таял, и вместе с ним уходила та особая, гордая пустота, которую она много лет принимала за характер.

Она открыла глаза и посмотрела на океан.

И в этот момент — в этот самый момент — она почувствовала его.

Не увидела. Не услышала. Почувствовала. Взгляд. Тяжёлый, тёплый, пристальный — он коснулся её спины между лопаток, как прикосновение руки, и от этого прикосновения у неё разом подобралось всё под ложечкой и стало жарко там, где не должно было становиться жарко от одного взгляда. Она вздрогнула, резко обернулась и увидела в проёме балконной двери мужчину.

Он стоял, прислонившись плечом к косяку, сложив руки на груди, и смотрел на неё с выражением, в котором было всё сразу: любопытство, насмешка, узнавание и ещё что-то такое, от чего у неё перехватило дыхание и почему-то вспыхнули щёки. Он был высоким. Широкоплечим. Загорелым до бронзового оттенка — но загар его был не курортный, песочный, сходящий пластами по возвращении домой, а тёмный, глубокий, с золотистым отсветом, как у людей, которые годами живут под южным солнцем и научились не сгорать. Волосы — коротко стриженные, русые, выгоревшие почти добела на солнце. И глаза — светло-карие, почти янтарные, с золотыми искрами, которые плясали в них, как блики на воде, и от этого взгляда у Алены появилось неприличное, совершенно не научное желание опустить ресницы и посмотреть на него исподлбья, как смотрят женщины, которые точно знают, что на них смотрят в ответ.

«Ты видела его во сне», — шепнул кто-то внутри. «Это он. Тот самый. Из сна». Сердце пропустило удар, потом ещё один, потом забилось быстро-быстро, как птица в клетке, и

в этом сердцебиении было больше стыда, чем радости: потому что нельзя так реагировать на незнакомца, потому что ей тридцать два года, потому что она доктор наук, а не героиня бульварного романа. Алена сглотнула и заставила себя дышать. Ей показалось — или это правда было так? — что в его лице было что-то знакомое до боли, до дрожи, как будто она знала его тысячи лет. Как будто не он только что вошёл в её номер, а она вошла в его жизнь задолго до этой встречи — и всё, что происходит сейчас, всего лишь вежливая формальность, дань приличиям перед чем-то, что уже случилось где-то в другом месте и в другое время.

— Мисс Снигерева? — Голос был низким, грудным, с лёгкой хрипотцой, которая, казалось, смешивалась с шумом прибоя, доносившимся снизу, и от этого голоса у неё на предплечьях выступили мурашки, хотя было жарко. — Простите, я, наверное, не вовремя.

Она молчала, сжимая чашку так, что костяшки побелели. Он был здесь. В её номере. Откуда? Как? Она была уверена, что закрывала дверь — и эта уверенность теперь казалась ей такой же наивной, как вера в то, что океан можно измерить.

— Я Джеймс Патрик, — он сделал полшага вперёд, из тени в свет, и улыбнулся — чуть заметно, одними уголками губ. Улыбка у него была... опасная. Не в смысле угрозы. В смысле обещания. — «Сан-Франциско Кроникл». Мы договаривались о встрече на завтра. Но я проходил мимо и решил, что не грех представиться лично. Ваш научный руко-

водитель, профессор Лебедев, был так любезен, что отправил мне ваше расписание.

— Я не ожидала вас так рано, мистер Патрик. — Голос её прозвучал холоднее, чем она хотела. Холодно — это было её обычное состояние, её выученная оборона, надетая так давно, что она уже не отличала броню от кожи. — Боюсь, я ещё не готова к интервью.

— О, это не интервью, — он рассмеялся, и смех у него был низким, приятным, немного хриплым, как шум гальки, перекачиваемой волной. Он смеялся по-настоящему, всем существом, и от этого смеха веяло такой жизнью, такой свободой, что Алене на миг стало завидно — так завидуют человеку, который умеет делать то, что ты разучилась. — Я просто хотел убедиться, что вы действительно существуете. Профессор Лебедев так восторженно рассказывал о вас, что я подумал: такая женщина не может быть реальной. Русский учёный. Красавица. Да ещё и специалист по глубоководным экосистемам. Обычно таких героинь придумывают для дешёвых романов, а не для экспедиций на дно океана.

Он говорил это с явной насмешкой — но в глазах его читался неподдельный интерес. Не мужской, оценивающий, — хотя и он там был, и Алена кожей чувствовала, где именно этот интерес остановился, — а скорее профессиональный, живой. Он разглядывал её так, как разглядывают интересную находку, как разглядывают человека, в котором чувствуют историю, — и одновременно так, как разглядывают женщину,

у которой на затылке выбилась прядь и которая об этом не знает.

Алена почувствовала, как по коже пробежал холодок. И не от его слов. От того, как он смотрел. Этот взгляд проникал слишком глубоко — туда, где у неё хранилось то, о чём она не говорила даже с Лебедевым. Словно он видел её насквозь, читал её мысли, её страхи, её одиночество, её несмелые, давно запрещённые себе желания. Она не привыкла к такому вниманию. В лаборатории все коллеги были либо женаты, либо слишком увлечены наукой, чтобы замечать в ней женщину; она давно научилась быть невидимой для мужских глаз — это было удобно, надёжно, безопасно, как тёплый свитер в ноябре. А здесь, под этим ярким тропическим солнцем, в лёгкой блузке и босиком, она вдруг остро, до боли ощутила своё одиночество. И то, что она была женщиной.

Она скрестила руки на груди — защитное движение, которое она ненавидела в себе и которое делала постоянно, потому что руки, скрещённые на груди, очень удобно объяснять «мне холодно», даже когда тебе жарко.

— Мистер Патрик, — сказала она, стараясь, чтобы голос звучал ровно. — Я ценю вашу проницательность. Но у меня нет времени на игры. Через час у меня встреча с командой, мы обсуждаем план погружений.

— Ваша команда, — он кивнул в сторону океана, — это несколько ленивых парней на катере, которые уже час безуспешно ищут по всему пирсу пропавший аккумулятор для

гидроакустической станции. Я был там. Видел всё. Катер сегодня в море не выйдет. Поэтому вы совершенно свободны. — Он помолчал и добавил с той же лёгкой улыбкой: — И кстати, тот, кто «пропал», — он не пропал. Его вчера вечером выгрузили на берег, и я своими глазами видел, как его уносили в сторону ремонтной мастерской за рынком. Так что пропажа, скорее всего, «производственная». Или, если хотите, «снабженческая».

Алена уставилась на него, чувствуя, как внутри закипает раздражение пополам с любопытством. Он был прав — откуда-то он знал. Она так и не успела дозвониться до координатора станции, чтобы уточнить детали, но если катер не выйдет, то её расписание, выстроенное с немецкой аккуратностью, рассыпается уже к полудню, и в этом было что-то почти неприличное — стоять с чашкой кофе на балконе, когда работа отменяется сама собой.

— Откуда вы знаете про аккумулятор? И про мастерскую?

— Я журналист, — он пожал плечами с таким видом, будто это всё объясняло. — Моя работа — знать. А ещё я любопытный человек. Любопытство — это профессиональная деформация. Я сую нос в чужие дела, потому что не могу иначе. Вот, например, про вас я уже знаю, что вы пьёте кофе без сахара, но с молоком. Что у вас на левом запястье — старые часы с мужским ремешком, наверное отцовские, и вы их носите, не снимая, даже когда они отстают. Что вы сегодня утром перечитали папку с документами дважды, хотя

помните её наизусть. И что сейчас вы решаете, послать меня подальше или всё-таки пойти посмотреть на то, что я хочу вам показать.

Алена открыла рот и закрыла его. Он перечислил всё: ча-сы, кофе, папку. Она машинально посмотрела на запястье, где тускло поблёскивал старый хронометр отца, — она действительно никогда его не снимала, и ремешок был протёрт в том месте, где его касался её пульс.

— Вы... — начала она.

— Наблюдательный, — закончил он за неё. — Это всё, чем я могу оправдать свою невоспитанность. Признаю. Но если вы согласитесь пойти со мной, я больше не буду пугать вас дедукцией. Обещаю. Ну, почти обещаю.

Он вытащил из кармана маленькую белую ракушку. Идеальной формы, гладкую, как слоновая кость, внутри которой, казалось, сиял какой-то перламутровый свет. Он протянул её ей на раскрытой ладони — и в этом жесте была та простая, уверенная открытость, от которой у неё защипало в горле, потому что ей никто давно ничего не протягивал вот так, ладонью вверх, без условий.

— Это не подарок, — сказал он, видя её колебания. — Это пропуск. Я знаю одно место. Оно не отмечено ни на одной туристической карте. Там океан говорит. Там можно услышать то, что никогда не услышишь с помощью своих приборов. — Он наклонил голову, и в его глазах заплясали озорные искры. — Пойдём. Я покажу вам настоящие Гавайи, а

не туристический глянец.

В его словах был вызов. Он проверял её. Оценивал: готова ли эта северная учёная шагнуть в неизведанное — и, что важнее, готова ли она шагнуть не туда, куда следовало. И, к собственному удивлению, Алена почувствовала, как в груди разливается странное, забытое возбуждение, от которого начинали гудеть кончики пальцев и в животе становилось тепло и пусто одновременно.

Она всегда жила по плану. По расписанию. По правилам. Понравилось ей это или нет — это была её броня. Она надела её в пятнадцать лет, когда исчез отец, и не снимала с тех пор, потому что если следовать правилам — ничего плохого не случится, а если держать всё под контролем — мир не посмеет выбить тебе почву из-под ног. Броня работала. Годы шли. Она защитила диссертацию, получила лабораторию, имя в научных кругах, репутацию женщины, с которой удобно работать и неудобно спорить. И одиночество, аккуратно уложенное в ту же броню, как в футляр кладут то, чем давно не пользуются, но не выбрасывают.

А здесь, на этом острове, под этим солнцем, ей предлагали сломать все правила — и предлагали так легко, что это было почти оскорбительно.

«Не ходи. Это опасно. Ты его не знаешь».

Но внутри неё, где-то под бронёй, подо льдом, под всеми слоями защиты, что-то шевельнулось. Что-то тёплое. Что-то живое. И это что-то сказало: «Иди».

— Хорошо, — вырвалось у неё прежде, чем она успела подумать. — Только я предупреждаю: если это окажется очередной туристической ловушкой, я напишу о вас разгромную статью в научном журнале. И «Сан-Франциско Кроникл» будет упоминаться там как источник лженаучной информации.

Джеймс расхохотался. Его смех эхом отразился от стен кондоминиума и смешался с шумом прибоя — так, что на секунду стало непонятно, где что. Он смеялся не обидно, а с каким-то искренним восторгом, как будто она подарила ему лучший анекдот года, — и от этого смеха у неё внутри что-то расслабилось, как расслабляются мышцы, о которых ты не знала, что они всё это время были напряжены.

— А вы, я смотрю, с характером. — Он качнул головой, и в глазах его было одобрение — искреннее, тёплое, с примесью чего-то, от чего у неё снова стало жарко в щеках. — Это хорошо. Мне нравятся женщины с характером. С ними всегда интересно. И кстати, мисс Снигерева, — он сделал шаг ближе, и от него пахло морем, кофе и тёплым деревом, и этот запах у неё врезался в память так, что потом, через месяцы, она будет узнавать его с первого вдоха, — если вы решите писать разгромную статью, я буду вашим самым преданным читателем. Обещаю.

Он повернулся, придерживая дверь, и вышел на лестницу. Алена постояла мгновение, собираясь с духом, потом поставила чашку на перила балкона и последовала за ним. Ракуш-

ка осталась у неё в ладони — она успела сжать её, даже не заметив, как, и теперь ощущала между пальцами её гладкую прохладу, которая таяла от тепла её кожи.

Они вышли из кондоминиума на тенистую аллею, пробираясь между пышными кустами гибискуса, которые, казалось, были высажены здесь без всякой системы — просто потому, что им нравилось расти, и никто не посмел им возразить. Воздух был тягучим, влажным, пропитанным запахом цветов и вулканической пыли. Солнце безжалостно припекало, и Алена пожалела, что не взяла с собой кепку. Она сняла лёгкую блузку, оставшись в майке, и повесила её на плечо, — и поймала себя на том, что сделала это с тем самым чувством, с каким в раздевалке спортзала её ровесницы снимают свитер «просто потому, что жарко», хотя были причины и получше.

Джеймс шёл чуть впереди, уверенно прокладывая путь. Он ловко лавировал между корявыми стволами бананов и огромными, как зонтики, листьями таро. Иногда он оглядывался на неё — проверяя, не отстала ли, — и каждый раз в его глазах плясали те же озорные искры. Он молчал, и Алена не нарушала молчание. Ей было хорошо идти вот так: слушать шорох листьев, чувствовать тёплый воздух кожей, видеть, как свет пятнами ложится на землю сквозь листву, — и не думать ни о чём, что требует ответа к сроку.

Она поймала себя на том, что разглядывает его. Загорелые руки, покрытые лёгким золотистым пушком, который на

солнце светился, как пыльца. Широкую спину, перекачивающуюся под тканью льняной рубашки, с тем тёмным пятном между лопаток, которое оставляет пот и которое почему-то волнует больше, чем любая картинка. То, как он двигается — плавно, уверенно, как будто весь мир принадлежит ему по праву старшинства. «Не пялься», — сказала она себе. Но смотрела. Не могла не смотреть. Что-то в этом человеке было такое, что цепляло её внимание, как крючок — губу рыбы: не тянуло, а держало. Она не могла объяснить это логически, и это её пугало больше всего.

Они вышли к небольшой бухте, скрытой от посторонних глаз огромным навесом из застывшей лавы. Она, наверное, тысячу лет назад текла здесь, жидкая, огненная, а потом остыла, превратившись в причудливый чёрный амфитеатр, выходящий к воде. Вода здесь была необычного цвета — тёмно-изумрудной, почти чёрной у берега, и невероятно чистой. На поверхности не было ни одной волны — только лёгкая зыбь, как будто океан дышал во сне. Берег был усыпан не песком, а мелкой галькой, отполированной морем до блеска, — цвета слоновой кости и чёрной смолы, вперемешку, как чётки, которые кто-то рассыпал и не стал собирать.

— Здесь, — тихо сказал Джеймс, останавливаясь. — Это место местные называют «Врата Пеле». Говорят, если сесть у воды в полнолуние и ничего не бояться, можно увидеть своё прошлое и будущее. Но сейчас это просто... просто лучший пляж для разговоров.

Он сел на тёплый камень, и Алена, помедлив, села рядом — на расстоянии, которое в Петербурге показалось бы нормальным, а здесь, среди чёрной лавы и тихой воды, казалось неприлично большим. Она сняла сандалии и опустила ступни в воду. Вода была прохладной, но не ледяной — в ней, казалось, смешались холод глубин и жар вулканов, — и от этого прикосновения у неё по ногам прошла волна, от которой захотелось вытянуть их, откинуться назад и закрыть глаза. Она смотрела на воду и чувствовала, как внутри неё, медленно, осторожно, расслабляется что-то, что было сжато годами.

— У меня есть к вам один вопрос, Алена.

Она не обернулась на него, продолжая смотреть на воду.

— Мы только что встретились, мистер Патрик. У вас уже есть вопрос, который нельзя отложить до завтра?

— Есть. — Она услышала, как он подвинулся ближе: зашуршала галька под его ботинками, — и это шуршание было внятнее любого намёка. — Почему вы здесь? Почему океанолог, у которой есть контракты в лучших лабораториях мира, по собственной воле приезжает на этот Богом забытый вулканический остров в самый разгар сезона ураганов? Что вас сюда привело?

Алена задумалась. Она могла бы сказать правду — что ищет подтверждение своей теории о циклических изменениях в биолюминесцентных бактериях на термальных источниках. Могла бы соврать — что просто любит путешествия.

Могла бы отшутиться — что у неё нет выбора. Врать она умела: научилась за годы научных грантов и отчётности, где правда всегда занимает ровно столько места, сколько осталось от бюджета. Но почему-то врать именно этому человеку, сидящему рядом на тёплом камне и не делающему ни одного лишнего движения, ей не хотелось.

Она посмотрела на горизонт, где океан встречался с небом, и сказала:

— Я ищу... что-то. Что-то, чего не могу описать словами. Мой отец был моряком. Капитаном дальнего плавания. Он всегда говорил, что океан — это живой организм. Что вода помнит. — Она помолчала, подбирая слова, и слова давались тяжело, как всегда, когда касаешься того места, где болит. — Он ушёл в море, когда мне было пятнадцать. И не вернулся. Корабль пропал без вести. Без обломков, без сигналов бедствия. Он просто... исчез. Я думаю, что я всю жизнь ищу его. Или то, что он хотел мне сказать. Возможно, это звучит глупо для журналиста из «Кроникла».

Она ждала, что он засмеётся. Что скажет что-нибудь ироничное, обесценивающее, как все люди, которые не знают, что ответить на чужую боль, и потому отделяются шуткой. Но Джеймс молчал. А когда она наконец решилась посмотреть на него, он сидел неподвижно, глядя на воду, и лицо его было серьёзным — почти печальным. Вдруг он стал не похож на того беспечного насмешника, который распахнул её дверь. Перед ней сидел уставший человек с глазами, пол-

ными боли, — и эта боль была такой же старой, как её собственная, и от этого узнавания у неё внутри что-то сжалось и не разжалось.

— Нет, Алена. Это не глупо. — Он помолчал, потом вытащил из кармана маленькую, искусно вырезанную из дерева фигурку. Акула. Чёрная, гладкая, отполированная до блеска ладонями, которые её держали, — и было видно, что держали много лет. — Мой отец был военным репортёром. Он погиб где-то в Африке, пытаюсь рассказать правду, которую некому было рассказывать. Мне было шестнадцать. Я тоже ищу его. Мы все ищем своих отцов — или их эхо. Каждый по-своему. Иногда я думаю, что моя работа — это просто способ искать его. Способ не дать себе забыть, что он был.

Он протянул ей фигурку, и Алена взяла её. Дерево было гладким и тёплым — как будто его долго держали в руках. Как будто в эту маленькую вещицу было вложено больше тепла, чем в иных людей.

— Держите. Это местный талисман. Акула — проводник между мирами. Говорят, она знает тайны, которые унесли с собой утонувшие души. — Он усмехнулся уголком губ. — А ещё говорят, что если подержать её достаточно долго, она начинает приносить удачу тем, кто ищет. Не знаю, правда ли это. Но мне она правда помогала.

— Спасибо, — тихо сказала Алена. Она не знала, что ещё сказать. Она сжимала деревянную акулу в ладони, чувствуя её тепло, и где-то под рёбрами у неё что-то дрогнуло. Что-

то, чему она не могла дать научного определения.

В этот момент из воды, прямо у её ног, выпрыгнула маленькая рыбка — вся переливающаяся всеми цветами радуги, будто кто-то на секунду выпустил в воду горсть драгоценностей и тут же убрал обратно. Алена улыбнулась — впервые за долгое время по-настоящему, не для вида, — протянула руку, чтобы коснуться воды, и вдруг почувствовала, как сильное, тёплое течение, исходящее откуда-то снизу, обнимает её ноги. Это было похоже на прикосновение гигантской, невидимой руки — нет, не похоже: это было именно прикосновение, настойчивое и вместе с тем бережное, которое поднималось от щиколоток к коленям и выше, и от которого у неё перехватило дыхание и стало жарко в самом низу живота.

Она вскрикнула от неожиданности и отдёрнула ноги.

— Что это было?

Джеймс нахмурился. Он смотрел на воду, и лицо его было настороженным — так смотрят на человека, которого считали знакомым и который вдруг сказал что-то на незнакомом языке.

— Подводный источник, — сказал он, но в голосе не было полной уверенности. — Или Пеле просто решила показать, что она здесь. Добро пожаловать на Большой остров, Алена. Здесь никогда не бывает скучно.

Алена вздрогнула. Ей вдруг показалось, что за ней наблюдают. Она обернулась — но вокруг были только пальмы, тём-

ная вода и шелестящий ветер, который не мог объяснить, почему у неё между лопаток опять то самое ощущение чужой ладони. И всё же ощущение чужого взгляда не проходило. Оно было тягучим, как патока, и пронизывало насквозь, словно какая-то древняя сила проверяла её на прочность — не грубо, а с тем спокойным вниманием, с каким врач смотрит на пациента, уже зная диагноз. Она почувствовала, как волоски на руках встают дыбом, — и это был не ветер.

— Идём отсюда, — сказала она, резко поднимаясь. — У меня на самом деле много дел.

Джеймс не стал спорить. Он просто кивнул и повёл её обратно по той же тропинке. По пути он рассказывал ей о вулканах, о легендах, о том, как кофе растёт на склонах Мауна-Лоа, о том, почему местные не любят, когда трогают лаву: лава приносит несчастья, и каждый год на адрес вулканической лаборатории приходят посылки со всей планеты — люди возвращают камни, принёсшие им неудачу, и пишут письма, в которых извиняются перед горой так, как извиняются перед живым существом. Он говорил легко, непринуждённо, и его голос — низкий, чуть хриплый, с лёгкой насмешкой — казался успокаивающим, почти гипнотическим. Она слушала его и чувствовала, как стены, которые она так долго возводила вокруг себя, начинают давать трещины, и в этих трещинах уже прорастало что-то зелёное, живое, чему она не давала имени.

У выхода из бухты они остановились. Джеймс повернулся

к ней, и солнце стояло у него за спиной, обводя его фигуру золотым контуром, так что лицо его было в тени, а глаза — нет.

— Завтра в шесть утра, — сказал он. — У пирса. Я хочу показать вам кое-что, что вы не найдёте ни в одной научной статье. Это не туристическая ловушка. Обещаю.

— А если я не приду?

Он улыбнулся — той самой улыбкой, с обещанием.

— Придёте. Вы слишком любопытны, чтобы не прийти. Это одна из причин, почему вы хороший учёный.

И ушёл, не оглядываясь. Алена смотрела ему вслед, чувствуя, как солнце жжёт макушку, и сжимала в руке деревянную акулу, которая вдруг показалась ей тёплой, как живая.

Она вернулась в кондоминиум уже ближе к полудню, но вместо того чтобы лечь или открыть документы, вышла на пляж. Песок был горячим, белым, и вода у кромки была такой прозрачной, что виднелись даже мелкие камешки на дне. Она шла вдоль берега босиком, сжимая в руке сандалии, и думала о том, что это, наверное, первый раз за много лет, когда ей некуда спешить, — и от этой мысли становилось не спокойно, а тревожно, потому что человек, который всю жизнь спешил, без спешки не знает, куда себя деть.

В кафе «Lava Java» — маленьком, с открытой верандой, выходящей прямо к воде, — она заказала фреш из папайи и села за столик у перил. Официантка, молодая гавайка с цветком в волосах, улыбнулась ей и сказала «алоха» — и Алена

ответила тем же, и слово это уже не казалось ей чужим. Оно ложилось на язык легко, как будто она всегда его знала, как будто оно ждало её где-то в глубине горла и только теперь получило разрешение выйти.

Она сидела, пила сок и смотрела на океан. Яхты покачивались у причала, чайки кричали, где-то играла гавайская гитара — негромко, вполголоса, как играют для себя. Жизнь текла неторопливо, как тёплое масло. И Алена поймала себя на мысли, что давно не чувствовала себя такой живой. Такое с ней случалось редко — обычно только на борту исследовательского судна, когда впереди целый рейс, когда море обещает приключения и никто не спрашивает, почему у тебя нет мужа. Но это было другое. Это было глубже. Это касалось не науки — её самой.

После обеда она всё-таки заставила себя открыть ноутбук. Нашла координаты станции, связалась с координатором — тем самым пожилым гавайцем в ожерелье из ракушек, которого звали Кахи. Он подтвердил, что катер действительно не выйдет: аккумулятор для гидроакустической станции нашёлся в ремонтной мастерской, но станцию отремонтируют только завтра к вечеру. «Так что сегодня можете отдыхать, доктор Снигерева, — сказал он голосом, в котором звучала улыбка. — Остров сам подскажет, что делать».

Алена повесила трубку и задумалась. «Остров сам подскажет». Это было так не похоже на институтскую дисциплину, к которой она привыкла, на все эти графики и регламенты,

где каждый час имеет свой номер и своё назначение. Но почему-то именно этой фразой Кахи снял последние остатки её сопротивления — так снимают с плеч тяжёлое пальто, когда уже нет сил его держать.

Остаток дня она провела в солёной лени: плавала в океане, лежала на песке, смотрела, как туристы учатся стоять на досках для сёрфинга, и смеялась вместе со всеми, когда кто-то падал. Вода держала её мягко, как держат на руках ребёнка, который уже слишком тяжёл для этого, но которого всё равно не хочется отпускать. К вечеру она вернулась в номер, приняла душ и, впервые с момента прилёта, не включила ноутбук.

Она стояла у окна, глядя на заходящее солнце. Небо пылало всеми оттенками красного и оранжевого, превращая океан в расплавленное золото. Где-то там, за горизонтом, уходило в воду солнце, и вода кипела цветом раскалённой лавы. Алена сжимала в руке деревянную акулу — подарок Джеймса — и чувствовала, как её тепло разливается по ладони, поднимается по запястью, идёт выше, и от этого по всему телу становилось тепло и немного стыдно, как бывает стыдно от собственных мыслей, когда их не с кем разделить.

Телефон зазвонил — резко, требовательно, вырвав её из задумчивости. Экран высветил незнакомый номер, и Алена, поколебавшись, ответила:

— Да?

— Алёна? — Голос профессора Лебедева звучал глухо, с

помехами: межгород и океан вклинивались в трубку шорохом, как песок в механизм. — Это Лебедев. Как долетела? Как устроилась?

— Летела долго, — ответила она, удивлённая его звонком. Лебедев не звонил по пустякам — он вообще не звонил, он писал короткие письма без приветствий. — Устроилась нормально. Вот, стою у окна, смотрю на закат.

— Закат — это хорошо. Закат — это хорошо, — повторил он, и в его голосе послышалась какая-то странная задумчивость, как будто он говорил не с ней, а с самим собой, проверяя, годится ли эта фраза для того, что он собирается сказать дальше. — Слушай, Алёна. Тут такое дело. Вчера в институт приходили какие-то люди. Спрашивали о тебе. О твоей командировке. Интересовались, что за данные ты собираешь, кто тебя встречает, где ты остановилась.

Алена нахмурилась. Ледяной червячок зашевелился под рёбрами — тот самый, старый, знакомый, которого она не слышала много лет.

— Какие люди?

— Не представились толком. Сказали — «международная научная координация». Показали какие-то удостоверения, я не разглядел. — Лебедев помолчал, и в трубке было слышно, как он дышит, тяжело, с присвистом. — Я, конечно, ничего не сказал. Но ты будь осторожна. Ты там одна. Если что-то покажется странным — звони мне сразу, не раздумывая. Ты поняла?

— Поняла, — сказала она медленно.

— И ещё, — он замялся, и в трубке надолго повис шум.
— Алёна, ты помнишь, твой отец писал мне письма перед последним рейсом? Я тебе говорил как-то, что он был чем-то обеспокоен?

Она помнила. Лебедев рассказывал ей это много лет назад, в случайном разговоре, коротко и как бы между прочим: капитан Снигерев перед отплытием из Хило звонил ему, говорил, что «нашёл то, что искали всю жизнь», и просил присмотреть за семьёй, «если что-то случится». Тогда Алёна не придавала этому значения — она тогда вообще многому не придавала значения, потому что была занята тем, что училась не чувствовать. А теперь — теперь, стоя у окна над тёмнеющим океаном, она вдруг почувствовала, как волоски на руках встают дыбом.

— Помню, — ответила она.

— Ну, — Лебедев вздохнул. — В общем, если вспомнишь что-то ещё... держи меня в курсе. И будь осторожна, Алёна. Остров большой. Океан — больше. А правда — самая большая. Она не любит, когда её торопят.

Он отключился, не дождавшись ответа. Алёна ещё долго стояла с телефоном в руке, глядя, как гаснет закат. Океан темнел, сливаясь с небом, и где-то там, в этой сине-чёрной глубине, лежал тот самый район, где в свой последний рейс ушла «Атлантик Роуз».

«Он был чем-то обеспокоен». «Нашёл то, что искал всю

жизнь». «Присмотри за семьёй, если что-то случится». Слова отца, пересказанные голосом Лебедева, вдруг сложились в узор, который она не замечала все годы, — так замечают рисунок на обоях только тогда, когда от них отходит человек, у которого была другая стена. И в центре этого узора была точка на карте — там, где океан встречался с вулканом, где вода дышала жаром, где нашли её отца... или не нашли.

Она посмотрела на деревянную акулу в своей руке. Чёрную, тёплую, с острыми плавниками. Проводник между мирами. «Она знает тайны, которые унесли с собой утонувшие души» — так сказал Джеймс. И впервые за долгое время Алена подумала: а вдруг это не просто слова?

Внизу, на тёмной воде, что-то блеснуло и погасло — как тогда, на Неве. Как будто океан мигнул ей.

Она попыталась вернуться к работе. Открыла ноутбук, вытащила папку с документами, перечитала план погружений — тот самый, который, по словам Джеймса, провалился ещё до начала. Но слова плыли перед глазами. Она ловила себя на том, что смотрит не в документ, а в тёмное окно, и в отражении видит не себя, а его — янтарные глаза, выгоревшие волосы, улыбку с обещанием, — и от этого отражения у неё внутри всё тянуло и ныло, как тянет и ноет мышца, о существовании которой ты узнала только сейчас.

«Что ты делаешь, Алёна? — спросила она себя строго. — Ты серьёзный учёный. Ты приехала сюда за данными. А ведёшь себя как героиня дешёвого романа, которую приманил

незнакомец с ракушкой в кармане».

Но вопрос этот прозвучал как-то неубедительно. Впервые за долгое время ей не хотелось быть серьёзным учёным. Ей хотелось — впервые за годы — быть просто женщиной, которая идёт за незнакомцем с ракушкой в кармане, потому что он обещал ей чудо, и потому что ей давно никто ничего не обещал.

Телефон на столе коротко звякнул. Сообщение от Джеймса:

«Завтра в 6 утра. У пирса. Не опаздывай. У нас есть шанс увидеть чудо».

Она прочитала сообщение — и невольно улыбнулась. Она не знала, что за чудо он имеет в виду. Но почувствовала, как по телу пробежала волна предвкушения — сладкая, запретная, как вкус первого глотка вина после долгого поста.

«Какая же ты дура, Алёна, — подумала она. — Ты даже не знаешь этого человека. А он уже вошёл в твою голову».

Она знала, что это опасно. Знала, что не должна. Но предвкушение было сладким, как запретный плод. Она легла в кровать, не выключая света, и долго смотрела в потолок, слушая, как за окном дышит океан. Деревянная акула лежала на тумбочке у изголовья, и Алёна заметила, что время от времени её взгляд сам собой возвращается к ней — к её чёрной, отполированной спине, к её острым плавникам.

А потом ей приснился он снова — тот же берег, тот же чёрный песок, те же янтарные глаза. Он стоял по колено в

воде и протягивал ей руку. И она шла к нему. И не боялась. Снег таял у неё на ладони, когда она касалась его лица, и он смеялся, и смех его был как шум прибоя.

«Алоха», — сказал он.

«Алоха», — ответила она.

И проснулась с улыбкой, которая не сходила с губ ещё долго после того, как рассвело. Было пять сорок. Она села на кровати, потянулась — и впервые за долгое время почувствовала в теле лёгкость, как будто кто-то развязал узел, который она носила годами.

Она оделась в лёгкое белое платье — то самое, которое взяла с собой почти случайно и которое теперь, стоя перед зеркалом, вдруг увидела другими глазами: оно струилось по фигуре, открывая плечи и ключицы, и в нём она — как ни странно это было признавать — нравилась себе. Она заплела волосы в свободную косу, накинула на плечи лёгкую рубашку и, схватив деревянную акулу, вышла из номера.

В шесть ноль-ноль она стояла на пирсе, сжимая в руке деревянную акулу, и смотрела, как из утренней дымки выплывает силуэт катера. Свет был розовым и золотым, вода — гладкой, как зеркало, и в ней, как в зеркале, отражалось небо, удваивая его.

Пирс был пуст, только старый рыбацкий катер покачивался у причала. Алена подошла ближе. В кабине горел тёплый жёлтый свет, и за рулём стоял он.

Джеймс увидел её в то же мгновение, как она ступила на

доски причала. Он оторвался от приборов, вышел на палубу и улыбнулся ей той самой улыбкой, от которой у неё подкашивались колени. Ветер трепал его волосы, и на миг ей показалось, что он — часть этого острова, его порождение, такое же древнее и свободное, как эти волны.

— Вы пришли, — сказал он, и в голосе его прозвучало удивление — настоящее, не наигранное. — Честно говоря, я не был уверен. Русские учёные обычно предпочитают досыпать.

— Мы предпочитаем работать, — парировала она, подходя ближе. — А то, что вы называете «чудом», должно быть действительно стоящим, чтобы ради него вставать в такую рань.

— Стоящим, — подтвердил он, протягивая ей кружку с дымящимся кофе. — Настоящий, кона. С молоком, без сахара. Я запомнил.

Она взяла кружку, и от неожиданности — что он запомнил — у неё потеплело в груди. Она сделала глоток. Кофе был обжигающим, терпким, с нотками шоколада и пряностей — и она почувствовала, как тепло разливается по телу, снимая последнюю утреннюю дрожь.

Джеймс отвязал канат, запрыгнул в катер и протянул ей руку, помогая перебраться с причала на палубу. Его ладонь была тёплой, сухой, и её пальцы на секунду задержались в его пальцах — на секунду дольше, чем нужно.

Океан ждал. И что-то в его тёмной, спокойной глади жда-

ло их обоих. Что-то, что помнило её имя задолго до того, как она услышала его. Что-то, что никогда не забывает тех, кто носит в груди снежную розу.

Глава 2. Танец теней на воде

«В темноте океан становится зеркалом души. Он показывает то, что ты прячешь даже от себя, — и делает это без пощады и без укора, как делает всё, что не умеет лгать. И если ты осмелишься заглянуть в его глубину — будь готова к тому, что отражение улыбнётся тебе в ответ и протянет руку. Иногда танцуют не тени на воде. Иногда тени танцуют тобой — и ты позволяешь, потому что впервые за долгое время кто-то ведёт, а тебе не страшно».

Катер уходил от причала, и Кона оставалась за кормой — уже не настоящая, а какая-то размытая, солнечно-пёстрая, как пятно на стекле, которое забыли стереть. Алена стояла на носу, обхватив пальцами тёплую кружку, которую он сунул ей в руки ещё у пирса, и смотрела, как остров отступает, растворяется в дрожащем мареве. Ветер трепал выбившуюся прядь, соль ложилась на губы тонкой плёнкой, и утренний свет, ещё розовый у горизонта, уже набирал силу, превращая океан в расплавленное стекло. Она сделала глоток, и кофе обжёг язык — терпкий, с молоком, без сахара, — и от этого маленького, точного попадания в её привычку у неё внутри что-то дрогнуло: он запомнил. Запомнил за одну встречу то, чего не запоминали люди, знавшие её годами.

Она пришла сюда за данными. За термальными источниками, за биолюминесцентными культурами, за точными чис-

лами, которые лягут в отчёт и уйдут в архив, где их никто не прочитает. Вместо этого она стояла на катере незнакомца с янтарными глазами и плыла туда, где, по его словам, «океан поёт». Умом она понимала, что это безумие — запрыгнуть на чужое судно ни свет ни заря, довериться человеку, которого знает сутки, вверить ему не только своё расписание, но и своё тело, которое в любой момент может понадобиться кому-то другому. Но ум, её верный, выстраданный, отточенный ум, молчал — как молчит компас вблизи магнитной скалы. Он просто не работал рядом с этим мужчиной.

Джеймс стоял за штурвалом, и взгляд его был устремлён вперёд, на бескрайнюю синеву. Утренний свет ложился на его лицо, на выгоревшие до белого волосы, на загорелые руки, сжимающие руль, — и Алена поймала себя на том, что разглядывает его с той пристальностью, с какой обычно изучала под микроскопом образец: жадно, бесстыдно, боясь пропустить деталь. Спокойная сила. Уверенность человека, который тысячу раз выходил в море и ни разу не позволил морю решить за себя. И под этой уверенностью — какая-то скрытая, струящаяся под кожей тайна, от которой у неё перехватывало дыхание и становилось тесно в груди, как бывает тесно перед тем, как тебя поцелуют.

— Ты боишься, — сказал он, не оборачиваясь, и в голосе его не было вопроса.

— Я учёный, — ответила она. — Я не боюсь. Я анализирую.

Он усмехнулся — уголком губ, не поворачивая головы, и от этой усмешки у неё в животе разлилось тепло, совершенно неуместное в семь утра на чужом катере.

— Значит, анализируй, что я делаю не так. Ты первая женщина, которую я везу ночным маршрутом к светящейся воде. Оценка безопасности — за тобой.

Алена молчала, вслушиваясь. В его голосе сквозила та же двойственность, что и на пирсе: лёгкость, прикрывающая сталь. Но что-то в том, как он вёл судно, как читал воду, как различал глубины по изменению цвета, выдавало в нём человека, для которого океан был домом, а не ремеслом. Она не могла сопоставить это с карточкой корреспондента «Сан-Франциско Кроникл», которую он ненавязчиво показывал, — журналисты не знают море так, как знал его он. Журналисты знают, как выглядит море на фотографии. Он знал, как оно пахнет перед штормом.

Катер плавно сбавил ход. Джеймс заглушил двигатель, и внезапная тишина упала на воду, как пелена, — такая плотная, что стало слышно, как стучит кровь в собственных ушах. Вдалеке, у горизонта, ещё виднелась огненная точка — лавовый поток, стекающий с какого-то склона прямо в океан, — и от неё по воде шло дрожащее оранжевое свечение, смешиваясь с восточной зарёй. Остров жил. Остров дышал огнём, водой и ветром, и в этом дыхании было что-то такое, от чего у неё по спине прошёл холодок, а ладони, наоборот, вспотели.

— Мы на месте, — сказал он тихо. — Слушай. И смотри под ноги.

И тогда она поняла, зачем он привёл её сюда. Не за добычей. Не за данными. За тем, что невозможно описать в отчёте, потому что отчёт не умеет передавать то, от чего у человека перехватывает дыхание и он забывает, что у него есть диплом.

Вода вокруг катера начала светиться.

Сначала — едва заметно, тонкой голубой парчой вдоль борта. Потом сильнее, глубже: миллионы крошечных точек вспыхивали и гасли в толще, как будто кто-то рассыпал по морю звёздную пыль и не пожалел её. Свечение поднималось из глубины, пульсировало в такт — то ли волнам, то ли чему-то ещё, живому, что дышало там, внизу. Синие, зелёные, фиолетовые искры сплетались в узоры, которых не мог создать случай: спирали, воронки, длинные текучие ленты, похожие на чьи-то распущенные волосы. Океан разговаривал с ней на языке света — и делал это так интимно, так неторопливо, как говорят с человеком, которого давно ждали и наконец дождались.

— Расскажи мне о своём отце, — неожиданно попросил Джеймс, не оборачиваясь.

Алена вздрогнула от неожиданности — и от того, как точно он попал.

— Почему ты спрашиваешь?

— Потому что ты думаешь о нём. — Он повернул голову,

и его глаза в темноте казались почти чёрными, а в чёрных глазах плавали золотые искры, и от этого взгляда у неё внутри всё подобралось. — Ты сжимаешь в кармане ту фигурку, которую я тебе дал, как будто это его рука. И ты смотришь на воду так, будто ждёшь, что он вынырнет из неё. Я не психолог, Алена. Я просто умею читать людей — это единственное, что я умею по-настоящему.

Она хотела возразить, но поняла, что он прав. Она действительно сжимала фигурку, и пальцы её онемели от напряжения. Она разжала руку, делая глубокий вдох, и воздух обжёг горло, как холодная вода.

— Мой отец был капитаном, — начала она, глядя на воду. — Он ушёл в свой последний рейс, когда мне было пятнадцать. Судно пропало без вести где-то в Тихом океане. Никаких обломков, никаких сигналов бедствия. Просто исчез, словно его проглотила бездна. Я всегда считала, что это была случайность. Шторм, ошибка навигации, всё что угодно. Но когда я стала изучать океан, я поняла, что случайностей почти не бывает. Есть закономерности, которые мы пока не умеем объяснять. И я хочу их понять.

Джеймс молчал. Алена подумала, что он, возможно, пожалел о своём вопросе, но когда она подняла глаза, он смотрел на неё с таким выражением, которое она не могла расшифровать: смесь восхищения, грусти и ещё чего-то тёмного, запретного, что бывает во взгляде мужчины, который одновременно хочет защитить женщину и знает, что не сможет.

— Я тоже ищу своего отца, — тихо сказал он. — Он был военным репортёром. Исчез во время гражданской войны в одной из африканских стран. Официальная версия — попал под перекрёстный огонь. Но я нашёл его дневник. Там были записи о том, что он расследовал что-то, связанное с океанскими течениями и затонувшими кораблями. Он писал о «голосах» из глубины. Я думал — он сошёл с ума. Теперь... я не уверен.

Алена почувствовала, как холодок пробежал по её спине, — и это был другой холодок, не тот, что от морского ветра. Слишком много совпадений. Два исчезновения. Две тайны. И оба связаны с океаном. Она хотела спросить подробнее, но он уже заглушил двигатель, и судно покачивалось посреди светящейся воды, и в этой тишине любой вопрос прозвучал бы слишком громко.

— Это биолюминесценция, — тихо сказал он. — Но не та, что мы видим у поверхности. Это другое. Глубинные бактерии, которые живут на термальных источниках. Свет — это их способ общаться, привлекать партнёров или отпугивать хищников. Или... — он помолчал, и пауза вышла длинной, — это что-то другое.

Он протянул ей руку, помогая встать.

— Хочешь увидеть это вблизи?

Алена заколебалась. Вода была тёмной, и она не знала, что скрывается в её глубине, — но свет был таким завораживающим, а рука Джеймса такой тёплой и надёжной, что

она кивнула, снимая сандалии и спуская ноги в воду. Вода была прохладной, но не холодной, и светящийся планктон вспыхивал у её ног, словно рассыпанные по воде звёзды, — и от этого у неё вырвался короткий, тихий смех, удивлённый и счастливый, какой она не слышала у себя много лет.

Джеймс спустился за ней, и они вместе стояли по колено в светящейся воде. Он держал её за руку, и Алена чувствовала, как его пульс бьётся в унисон с её собственным, — или это её пульс подстроился под его, что было уже совсем неприлично. Он был так близко, что она слышала его дыхание, чувствовала запах его кожи — смесь солёного ветра, кофе и чего-то тёплого, древесного, — и в темноте, среди светящегося планктона, это была самая интимная близость, какую она помнила за многие годы. Такая близость, от которой начинают гореть уши и хочется одновременно отступить и шагнуть ещё ближе.

Светящийся планктон вспыхивал у их ног мягкими синими и зелёными искрами, и Алена чувствовала, как тепло разливается по телу — от рук, от его близости, от опасности, от красоты этого мгновения, — и это тепло было не тем, к которому она привыкла в своей аккуратной жизни: оно шло снизу, из живота, и не спрашивало разрешения. Ей вдруг показалось, что океан знает их, что он ждал этого — ждал, пока эти двое встанут в его воду, плечом к плечу, и будут смотреть друг на друга, как будто всё на свете сошлось в этом месте, в эту секунду, и ничего другого не осталось.

— Ты не боишься? — спросил он, поворачивая её к себе лицом.

— Боюсь, — честно призналась она. — Но это приятный страх.

Он улыбнулся — той улыбкой, которая, казалось, освещала всё вокруг ярче, чем светящийся планктон. Он поднял руку и коснулся её щеки, кончиками пальцев прослеживая линию скулы, спускаясь к шее. Его прикосновение было лёгким, почти невесомым, но вызывало электрический разряд, который разлился по всему её телу, и Алена почувствовала, как её кожа покрывается мурашками — и не от прохлады воды.

— У тебя холодные руки, — прошептала она, но голос выдал совсем не то, что она хотела сказать. В нём было не удивление — восхищение. Та самая интонация, которую женщина не контролирует и за которую потом себя ненавидит.

— Я северный человек, — ответил он, и его пальцы скользнули по её шее, к ключице, где остановились, очерчивая линию, будто он рисовал на её коже что-то, чего она не видела. — Как и ты. Но тёплая вода всегда рядом. Не успеешь оглянуться — как согреешься.

Он говорил о воде, но она понимала, что он не о воде. И тепло это — то, о котором он говорил, — она чувствовала уже сейчас, в самой глубине себя. Оно поднималось снизу, из живота, разливалось по груди, щекотало горло, и ей было жарко даже в холодной воде, жарко так, что хотелось снять

с себя всё лишнее и позволить воде решать.

— Я хочу тебя поцеловать, — сказал он, и его голос был низким, хрипловатым, пробирающим до мурашек. — Но я хочу, чтобы ты сама этого захотела.

Алена подняла на него глаза. В его янтарном взгляде она видела отражение света и собственное лицо — и лицо это было чужим и прекрасным, лицо женщины, которая уже решила и ещё не призналась. Она чувствовала, как её сердце бьётся быстро-быстро, как в груди разливается тепло, которого она не испытывала уже много лет. Она хотела. Она хотела, чтобы его губы коснулись её губ, чтобы он утопил её в этом океане страсти и забвения, чтобы эта светящаяся вода сомкнулась над ними обоими. Но страх — старый, привычный страх — всё ещё держал её. Страх, что она растает. Что она потеряет контроль. Что она станет слабой. Что она позволит кому-то увидеть ту часть себя, которую она спрятала так глубоко, что уже сама забыла, как она выглядит.

— Джеймс... — начала она, но он не дал ей договорить.

Он наклонился, и его губы — мягкие, тёплые, чуть солоноватые от морской воды — коснулись её губ. Это был нежный, почти целомудренный поцелуй, но он обжёг её, как вспышка лавы. Она почувствовала, как мир вокруг неё исчез: исчез океан, звёзды, светящийся планктон, исчезло всё, кроме его губ, его рук на её талии, его дыхания, смешанного с её дыханием. Она закрыла глаза и позволила себе утонуть.

Он не углублял поцелуй. Он держал его на грани — неж-

но, осторожно, как будто боялся спугнуть, — и в этом было больше власти над ней, чем в любой настойчивости. Его пальцы скользнули по её затылку, заправили выбившуюся прядь за ухо, и Алена почувствовала, как по позвоночнику пробегает дрожь — сладкая, томительная, как начало чего-то большого, чего она, возможно, уже не сможет остановить. Она ответила ему — чуть приоткрыла губы, и он принял это как согласие. Поцелуй стал глубже, но всё равно оставался бережным, как будто он целовал не женщину, а снежинку, которая могла растаять от лишнего дыхания.

И в этот момент она почувствовала, как из глубины поднимается что-то огромное, тёмное, мощное. Вода под ними всколыхнулась, и по поверхности пробежала дрожь. Алена отстранилась, испуганно глядя вниз, но там, кроме светящегося планктона, ничего не было. Только глубина — тёмная, бездонная, дышащая, — и от этой глубины у неё внутри всё сжалось и одновременно потянулось вниз, как тянется тело к тому, чего боится.

— Ты чувствуешь? — прошептал Джеймс, и в его голосе послышалось что-то похожее на трепет. — Океан... он живой. Он наблюдает за нами.

Алена хотела рассмеяться, сказать, что это просто иррациональный страх, что вода всегда так колыхается, что у страха есть физиология и нет метафизики. Но она не могла. Потому что она действительно чувствовала чей-то взгляд. Тяжёлый, изучающий, почти физически осязаемый — как

чужая ладонь на затылке, которую ты не можешь сбросить, потому что не знаешь, чья она. И в этом взгляде не было угрозы — только ожидание. Как будто океан ждал от них чего-то. Как будто то, что только что произошло между ними, было частью какого-то древнего ритуала, о котором они не знали, но который знали за них.

— Нам нужно вернуться, — сказала она, пытаясь сохранить спокойствие. — Я не могу... я не готова к этому.

Джеймс не стал спорить. Он только кивнул и помог ей подняться на борт. Весь обратный путь они молчали, но их руки всё ещё были переплетены, и Алена смотрела на тёмную воду и думала о том, что только что произошло. О поцелуе. О дрожи в воде. О взгляде, который она чувствовала кожей. И о том, что ждёт её впереди, — и это «впереди» пугало её больше, чем всё, что было позади.

Когда катер причалил к пирсу, уже начинало светать. Небо на востоке розовело, предвещая новый день — тот простой, бытовой, полный дел и цифр день, который она так любила и который теперь казался ей декорацией. Джеймс помог ей выйти на берег и, не отпуская её руки, сказал:

— Ты не готова сейчас. Но ты будешь готова. Я подожду.

— Откуда ты знаешь? — спросила она, глядя на него.

— Потому что я чувствую тебя, — ответил он, проводя пальцем по её губам. — Так же, как океан чувствует луну. Это неизбежно.

Она не ответила. Просто кивнула и пошла к кондомини-

уму, чувствуя на себе его взгляд — между лопаток, тяжело, тепло, точно. Уже на пороге она оглянулась: он всё ещё стоял на пирсе, и в его руке светилась та же деревянная акула, которую он подарил ей.

Алена похолодела.

Она сунула руку в карман — фигурка лежала там, тёплая, на месте. Она сжала её, чувствуя пальцами гладкое дерево, и снова посмотрела на пирс. Джеймс стоял в свете восходящего солнца, и в его руке действительно была деревянная акула — точно такая же, как та, что лежала у неё в кармане.

«Зачем ему две?» — мелькнула мысль, и мысль была холодной и трезвой, единственной трезвой за всё утро. Но она отогнала её, решив, что это просто совпадение. У него могла быть такая же фигурка. Мало ли на свете резчиков, мало ли акул. Она зашла в номер, закрыла дверь и прислонилась к стене, пытаясь унять дрожь. Её губы всё ещё горели от поцелуя. А в голове, как навязчивая мелодия, звучал его голос: «Это неизбежно».

По дороге обратно она остановилась у кафе «Lava Java» — того самого, что выходило верандой прямо к воде. Утреннее солнце уже поднялось над океаном, и вода блестела, как расплавленное стекло, и от этого блеска у неё слезились глаза, хотя она никогда не жаловалась на зрение. Она заказала второй кофе — просто чтобы посидеть, прийти в себя, разобраться ощущения, которые клубились внутри, как тёплый туман, — и села за столик у перил, положив ладони на столеш-

ницу.

Пальцы ещё хранили память о его ладони. Губы ещё горели. И в этом тепле было что-то такое, чего она не испытывала очень давно — может, никогда, — и от этого становилось неловко, как бывает неловко от собственного тела, которое вдруг начинает жить отдельно и требовать того, чего ты ему не разрешала. Она чувствовала себя так, будто весь её ледяной, аккуратно выстроенный мир наклонился, и что-то тяжёлое, тёплое, живое покатилося по нему вниз, сметая по дороге таблицы, графики и двадцать лет благоразумия.

— Алоха!

Она подняла голову. За соседним столиком сидел Кахи — тот самый пожилой гаваец, который встречал её в аэропорту с табличкой. Он пил чай из глиняной кружки и смотрел на неё с той же мягкой, всезнающей улыбкой, от которой ей почему-то было и тепло, и немного не по себе. Ожерелье из ракушек по-прежнему висело у него на шее — Алена готова была поклясться, что оно у него вообще никогда не снимается.

— Доброе утро, Кахи, — сказала она, улыбнувшись в ответ. — Вы рано.

— Старики рано встают, — ответил он, отхлёбывая чай. — Молодые вообще не спят. А вы, доктор Снигерева, выглядите так, будто вообще не ложились.

Она смутилась — слишком точно он попал, и попал не в расписание, а глубже, туда, где у неё под кожей ещё жило

чужое дыхание. Но вместо того чтобы отшутиться, она вдруг спросила:

— Кахи, вы верите, что океан... живой? Что он помнит людей?

Он посмотрел на неё поверх кружки. Глаза у него были тёмные, глубокие, и в них, как в старой воде, угадывалась такая глубина, какой не бывает у молодых.

— Живой, — сказал он просто. — Мой дед говорил, что океан — это большое сердце, которое бьётся под водой. Он помнит всех, кто в него входил. Помнит их имена, их лица, их песни. И тех, кто утонул, он не отпускает. Он держит их тепло.

— А если кто-то просто... исчез? — спросила Алена, и голос её сел на этом «исчез», как садится голос на слове, которое слишком долго не произносили. — Корабль пропал. Без следов. Люди думают — может, он никогда туда не ходил.

Кахи поставил кружку на стол и посмотрел на океан.

— Океан ничего не выбрасывает, — сказал он. — Если человек ушёл в воду — вода его держит. Иногда на дне, иногда в памяти. Но он не исчезает. Просто ждёт, пока его найдут.

Он перевёл взгляд на неё, и его улыбка стала чуть грустной.

— Вы, наверное, ищете своего отца, доктор Снигерева. Алена почувствовала, как по спине пробежал холодок.

— Откуда вы...

— Просто знаю, — перебил он мягко. — Такие вещи видно. Когда человек ищет в океане не данные, а кого-то — это видно по глазам. — Он помолчал, потом добавил: — Я работаю в этой станции двадцать лет. Я видел, как сюда приезжали учёные. Хорошие, умные. Они искали бактерии, течения, минералы. Но вы — вы ищете другое. И океан это чувствует. Он открывает таким людям то, что прячет от остальных. Только будьте осторожны: всё, что он открывает, имеет цену.

Он поднялся, допил чай и положил на стол несколько купюр. Перед тем как уйти, остановился.

— Катер сегодня всё равно не выйдет, — сказал он. — Так что не спешите. Погуляйте. Послушайте. Остров сам скажет, когда будет время. — Он улыбнулся. — А если захотите настоящего кофе — заходите ко мне в лабораторию. Там варит машина, которую я сам собрал. Лучше не пробовали.

Он ушёл, а Алена осталась сидеть, глядя на океан. Кофе остывал в кружке, но ей было всё равно. Она думала о том, что сказал Хахи: «Океан ничего не выбрасывает». И о деревянной акуле со снежной розой на боку — о проводнике между мирами, который лежал у неё в кармане, тёплый, как живой.

Она внезапно почувствовала, что этот остров не случайно выбрал её. И что всё, что здесь происходит, — не случайно. Просто цепочка, которую пока не видно целиком, — и в этой цепочке уже были: пожилой гаваец, знающий про её

отца больше, чем сказал; журналист, умеющий читать воду; вода, которая светится и дышит; и две одинаковые деревянные акулы на двух разных берегах одного утра.

После обеда она заставила себя открыть ноутбук. Нашла станцию, связалась с координатором. Утвердила список оборудования для завтрашнего погружения: акваланги, баллоны, маски с диоптриями, подводные фонари и камеры. Всё было стандартно, всё было знакомо — и в этом знакомстве она искала спасение от того, что клубилось внутри неё, как искала спасение всю жизнь: в списках, в регламентах, в правильном порядке действий.

Она разложила на столе карты глубин. Район исследований — термальные поля примерно в десяти милях от побережья. Она провела пальцем по карте, изучая рельеф дна, и вдруг заметила то, чего не замечала раньше: в самой середине поля, на глубине около сорока метров, рельеф образовывал странную аномалию — резкое изменение, похожее не на естественный разлом, а на правильные очертания. Как будто на дне лежало что-то рукотворное. Она прищурилась, приблизила карту. Контуры напоминали силуэт корабля: длинный, узкий корпус, изогнутая носовая часть.

Сердце забилось быстрее. Она заставила себя дышать ровно. Это могло быть что угодно: старый каркас, затонувшая баржа, даже просто игра света и грунтовых волн. Она наложила сетку координат и сверила с данными порта Хило. То, что она увидела, заставило её похолодеть: координаты ано-

малии почти точно совпадали с последним сигналом «Атлантик Роуз» — корабля её отца, зафиксированным двадцать три года назад.

Двадцать три года. Она долго сидела неподвижно, глядя на экран, и в ушах у неё шумело, как шумит в раковине, если приложить её к уху и слушать море. Потом закрыла ноутбук, встала и подошла к окну. Океан был синим, спокойным, бесконечным. Где-то там, на глубине сорока метров, лежал корабль. И она знала — с той самой уверенностью, которая не требует доказательств, потому что живёт не в голове, а в теле, — что завтра она пойдёт туда.

В четыре часа она позвонила в лабораторию и попросила Кахи показать ей станцию. Он встретил её у входа — одноэтажного здания, которое больше напоминало бунгало, чем научный центр, но внутри оказалось светлым, чистым и пахло озоном и реактивами. Кахи провёл её по коридору, мимо карт глубин и фотографий подводных ландшафтов, и показал комнату, где хранилось оборудование для погружений: акваланги, баллоны с воздухом, гидрокостюмы, маски, фонари, подводные камеры.

— Всё проверено, — сказал он, поглаживая баллон, как гладят животное. — Но вы, я вижу, всё равно перепроверите.

Алена улыбнулась и действительно принялась проверять: продувку, давление, ремни, клапаны. Это была её работа, её ритуал, её медитация — те механические, точные движения, в которых был покой, недоступный в разговорах с Джейм-

сом. Здесь всё подчинялось ей. Здесь не было ни взглядов, от которых перехватывает дыхание, ни голоса, который производит «это неизбежно», ни воды, которая светится и дышит.

— Вы завтра идёте на глубину? — спросил Кахи, стоя в дверях и наблюдая за ней.

— Да, — ответила она, не оборачиваясь. — В район термальных полей.

Он помолчал, потом сказал тихо:

— Там, где вы собираетесь погружаться... местные рыбаки не ходят. Течения опасные, и рыба туда не заходит. Говорят, там слишком тихо. Как будто вода спит. — Он сделал паузу, и пауза была такой же тяжёлой, как вода внизу. — Но если вы решили — я не буду вас отговаривать. Океан сам решает, кого пускать. А вам он, кажется, уже открыл дверь.

Алена обернулась, удивлённая его словами. Но Кахи уже улыбался своей мягкой улыбкой и жестом приглашал её в комнату с чайником.

— А теперь попробуйте мой кофе, — сказал он. — Обещал же.

Они сидели на маленькой кухне при лаборатории, пили настоящий кона-кофе из глиняных кружек и смотрели, как за окном садится солнце. Кахи рассказывал ей об острове: о богине Пеле, которая живёт в кратере Килауэа и в ярости превращается в старуху; о том, почему нельзя уносить с собой куски лавы; о легенде про «снежную розу» — цветок, который, по преданию, растёт только на Большом острове,

выше линии облаков, где вулканический пепел смешивается со снегом.

— Снежная роза, — повторила Алена, и сердце её дрогнуло, как дрогает вода в закрытом сосуде от чужого шага. — А вы когда-нибудь видели её?

— Никто её не видел, — ответил Кахи, помешивая кофе. — Потому что она цветёт не для всех. Только для тех, у кого есть дар видеть то, что скрыто. Мой дед говорил, что тот, кто найдёт снежную розу, найдёт и своё сердце. Или потеряет его навсегда. — Он посмотрел на неё с той же всезнающей мягкостью. — А вы, доктор Снигерева, похоже, уже на полпути.

Алена допила кофе и поблагодарила его. Она вышла на улицу, когда солнце уже касалось горизонта, и океан горел золотом. Она постояла, глядя на воду, и снова ощутила тот странный трепет — как будто океан поднял на неё глаза.

Вечером она снова вышла на пирс. Просто так: воздух был тёплым, звёзды — крупными, и ей не хотелось сидеть в номере, где всё напоминало о том, что она здесь одна. Она села на край пирса, свесив ноги над водой, и смотрела, как лунная дорожка бежит по океану, разбиваясь о волны.

Мысли о нём не уходили. Она прокручивала в голове поцелуй — раз, другой, третий, — и с каждым разом он становился подробнее, чем был на самом деле: тепло его губ, солёный привкус, силу его ладони, лежащей на её спине, то, как он держал её лицо, будто это лицо было чем-то, что можно разбить. Она чувствовала, как кровь теплеет, как что-то

сжимается внутри, как она краснеет в темноте, как девочка. «Ты ведёшь себя нелепо», — сказала она себе вслух, и голос прозвучал так неубедительно, что она сама поморщилась.

«Это неизбежно», — эхом отозвалась луна.

Она легла спать поздно. И во сне снова пришёл он — стоял в воде по колено, с деревянной акулой в руке, и смотрел на неё янтарными глазами. Он молчал. Просто ждал. И она шла к нему — через тёплую, светящуюся воду, через ночь, через все свои страхи. Шла и не боялась.

Проснулась она от света — яркого, белого, льющего в окно. Солнце стояло уже высоко. Она села на кровати, чувствуя странную лёгкость, и сразу посмотрела на тумбочку. Деревянная акула лежала на месте. Она взяла её, провела пальцем по вырезанной розе — и улыбнулась, сама не зная почему.

За окном ждал океан. И завтра — завтра она пойдёт на дно, туда, где лежит её прошлое. А пока — пока у неё был этот день: тёплый, солнечный, полный ожидания. Она оделась, вышла на балкон и сделала глубокий вдох. Где-то впереди, за сверкающей водой, ждала правда.

Она оделась и, вместо того чтобы остаться в номере, спустилась к воде. Села на песок, глядя на океан, и попыталась разобраться в себе. Она была учёным. Она привыкла к логике, к порядку, к контролю. Но всё, что происходило с ней с момента приезда, не подчинялось никакой логике. Поцелуй. Светящаяся вода. Дрожь в глубине. Деревянная акула со

снежной розой. Загадочный журналист, который знал о ней больше, чем она сама. Совпадение? Слишком много совпадений. Или — как она всегда говорила — случайностей почти не бывает.

Она смотрела на воду и думала об отце. Об «Атлантик Роуз». О том, что завтра, возможно, она увидит его корабль — ржавый, обросший водорослями, лежащий на дне. Она боялась этого. И в то же время жаждала. Какая-то часть её, та самая, что всю жизнь искала ответы, тянулась к этой встрече, как цветок к солнцу, — и эта часть была сильнее страха, сильнее доводов рассудка, сильнее всего, чему её учили.

Она подняла с песка маленькую белую ракушку — такую же гладкую, как та, что дал ей Джеймс, — и сжала её в ладони. Потом встала, отряхнула песок и пошла обратно в номер. У неё был план. И завтра она начнёт его выполнять.

На следующее утро она стояла на пирсе в шесть утра — собранная, серьёзная, в гидрокостюме, поверх которого был надет пояс с грузами. Рядом с ней стоял Ноа — молодой водолаз, которого прислал Кахи. Он был коренастым, с кожей цвета тёмной бронзы и спокойными глазами, и держался с той уверенностью, которая приходит только от опыта. Оборудование они проверили вдвоём — молча, быстро, деловито.

— Течение на дне слабое, — сказал Ноа, проверяя клапан. — Видимость хорошая. Но в районе аномалии вода ведёт себя странно. Я туда не хожу. Даже рыбаки не ходят.

— А я пойду, — ответила Алена, и в голосе её не было сомнений.

Ноа посмотрел на неё долгим взглядом, потом кивнул.

— Тогда я иду с вами. До аномалии. Дальше — сами.

Они вышли в море на катере, который пригнал Кахи. Солнце только вставало, и вода была гладкой, как зеркало. Алена стояла на носу, глядя вперёд, и чувствовала, как сердце бьётся ровно и сильно. Она была готова. Что бы ни ждало её на дне — она была готова. Океан звал её. И она шла.

Минут через двадцать катер замедлил ход. Ноа заглушил двигатель, и они закачались на лёгкой зыби. Алена посмотрела на эхолот: сорок метров. Ровно внизу, под килем.

— Здесь, — сказал Ноа, и в его голосе послышалось что-то похожее на неохоту. — Я предупреждал: дальше не пойду. Жду вас здесь, наверху. Если через сорок минут не вынырнете — у меня есть якорь и телефон береговой охраны.

Алена кивнула, не отводя взгляда от тёмной воды. Она надела маску, проверила подачу воздуха, закрепила на поясе фонарь и камеру. Пальцы работали привычно, точно, хотя сердце колотилось, как у пойманной птицы. Она перехватила последний взгляд Ноа — странный, долгий, с каким-то чуть ли не сочувственным выражением.

— Сноу, — сказал он вдруг на местном наречии, и Алена не поняла, что это значит. Потом он пояснил по-английски: — Это место. Когда-то давно здесь утонул корабль. Старики говорят — он приходил сюда не случайно. Он нёс на дно то,

что не должно было подняться. — Он помолчал. — Алоха, доктор.

— Алоха, — ответила она.

И шагнула за борт.

Вода приняла её мягко, как принимает мать. Алена выравнила дыхание, сделала контрольное погружение на глубину пары метров, проверила компенсатор — всё было в порядке. Потом начала опускаться. Солнечный свет ещё пронизывал толщу, но чем глубже она шла, тем темнее становилось вокруг. Синева сгущалась, как чернила, разведённые водой. На глубине двадцати метров она включила фонарь, и его луч выхватил из тьмы серые силуэты кораллов, покачивающиеся водоросли, тёмные расселины дна.

На глубине тридцати метров она увидела его. Сначала — неясное тёмное пятно, потом — очертания, потом — корпус. Он лежал на боку, полужасыпанный песком, обросший сеткой водорослей и ракушек. Ржавый, древний, величественный. На борту, там, где краска ещё держалась, угадывались буквы. Алена подплыла ближе. Луч фонаря выхватил их из тьмы, и сердце её остановилось, а потом забилося снова — с такой силой, что зашумело в ушах.

«Атлантик Роуз».

Она замерла, зависнув в воде, и смотрела на эти буквы, пока у неё не защемило глаза. Двадцать три года. Двадцать три года она ждала этого мгновения. Корабль её отца. Корабль, который унёс его в бездну. Он был здесь. Всё это вре-

мя он был здесь.

Она медленно поплыла вдоль корпуса, ведя рукой по обросшей обшивке, — и это прикосновение было странным: холодное железо под тёплой перчаткой, и в этом холоде была вся та пустота, которую она носила с пятнадцати лет. Где-то в середине, там, где когда-то был, наверное, вход в трюм, зиял тёмный проём. Луч фонаря ушёл внутрь, и Алена, помедлив лишь секунду, поплыла туда.

Трюм был почти пуст. На дне, присыпанный песком и илом, лежал продолговатый предмет, закутанный в истлевшую ткань. Алена подплыла к нему, опустилась на колени в мягкий ил и осторожно развернула ткань. Внутри оказался кристалл размером с ладонь. Он был тёплым — не от глубинного тепла, а какой-то своей, внутренней теплотой, — и переливался всеми оттенками золота и изумруда. От него исходило мягкое свечение, которое в этой темноте выглядело чудом.

Алена взяла его в руки. И в тот же миг её пронзила вспышка — короткая, ослепительная, как удар молнии. На мгновение она увидела лицо отца — улыбающегося ей сквозь толщу воды, живое, настоящее, — и слышала его голос, низкий, спокойный, каким он был при жизни:

«Ты нашла меня, дочка. Теперь беги».

Она не сразу поняла, что плачет, — просто в маске стало горячо, и стекло поплыло, и мир на секунду потерял резкость, как теряет резкость фотография, если долго держать

её в руках. Двадцать три года она собирала этого человека по обрывкам: по запаху соли на его кителе, по манере поправлять фуражку, по фразе «вода помнит», которую он бросал через плечо, уходя. И вот он был здесь — не в памяти, не в рассказах Лебедева, а в воде, в железе, в этом тёплом камне, который пульсировал у неё в ладони так, будто она держала чужое сердце и не знала, можно ли его теперь отпустить.

Она оглянулась — на мгновение, всего на одно мгновение, — и в тёмном проёме трюма ей почудилось движение, не угроза, а любопытство: как будто вода в этом месте повернулась к ней боком и ждала, что она сделает дальше. И она сделала то, чему её учили дольше, чем чему-либо ещё: послушалась прибора. Взглянула на манометр, на таймер, на запас воздуха — и начала подъём.

Она очнулась от того, что у неё стучало в висках, а маска запотела. Кристалл лежал у неё в ладони — тёплый, пульсирующий, как сердце. Алена сжала его, сделала глубокий вдох из регулятора и стала подниматься — медленно, останавливаясь на каждой остановке декомпрессии, потому что инстинкт учёного не позволял ей забыть о безопасности даже в этот миг.

Она вынырнула рядом с катером. Ноа подал ей руку, помог забраться на борт. Алена сняла маску, откинула капюшон и посмотрела на кристалл, который сжимала в руке. Он светился даже под солнцем — мягко, золотисто, как будто внутри него горел маленький огонь.

— Это принадлежало моему отцу, — сказала она, и голос её дрогнул. — Это его корабль. Он был там. Все эти годы он был там.

Ноа не сказал ничего. Он только смотрел на кристалл долгим, странным взглядом, и в глазах его было что-то — узнавание, или предчувствие, или древнее знание, которому не нужно слов.

Они вернулись в Кону молча. На причале Алену ждал Кахи — он стоял, скрестив руки на груди, и смотрел, как катер швартуется. Когда Алена сошла на пирс, он подошёл к ней и посмотрел на кристалл, который она держала в руке. В его тёмных глазах мелькнуло что-то — он быстро отвернулся, но Алена успела заметить: он не удивлён.

— Вы знали, что он там, — сказала она тихо.

Кахи помолчал, потом ответил:

— Все в этой бухте знают, что там лежит «Атлантик Роуз», доктор. Вопрос был не в том, где она. Вопрос — кто осмелится до неё дойти. — Он поднял на неё глаза, и в них было уважение, какое бывает у стариков к тем, кто не побоялся сделать то, чего они сами не решились. — Сегодня осмелились вы.

Она сжала кристалл в ладони. И почувствовала, как он пульсирует в такт её сердцу — ровно, спокойно,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.